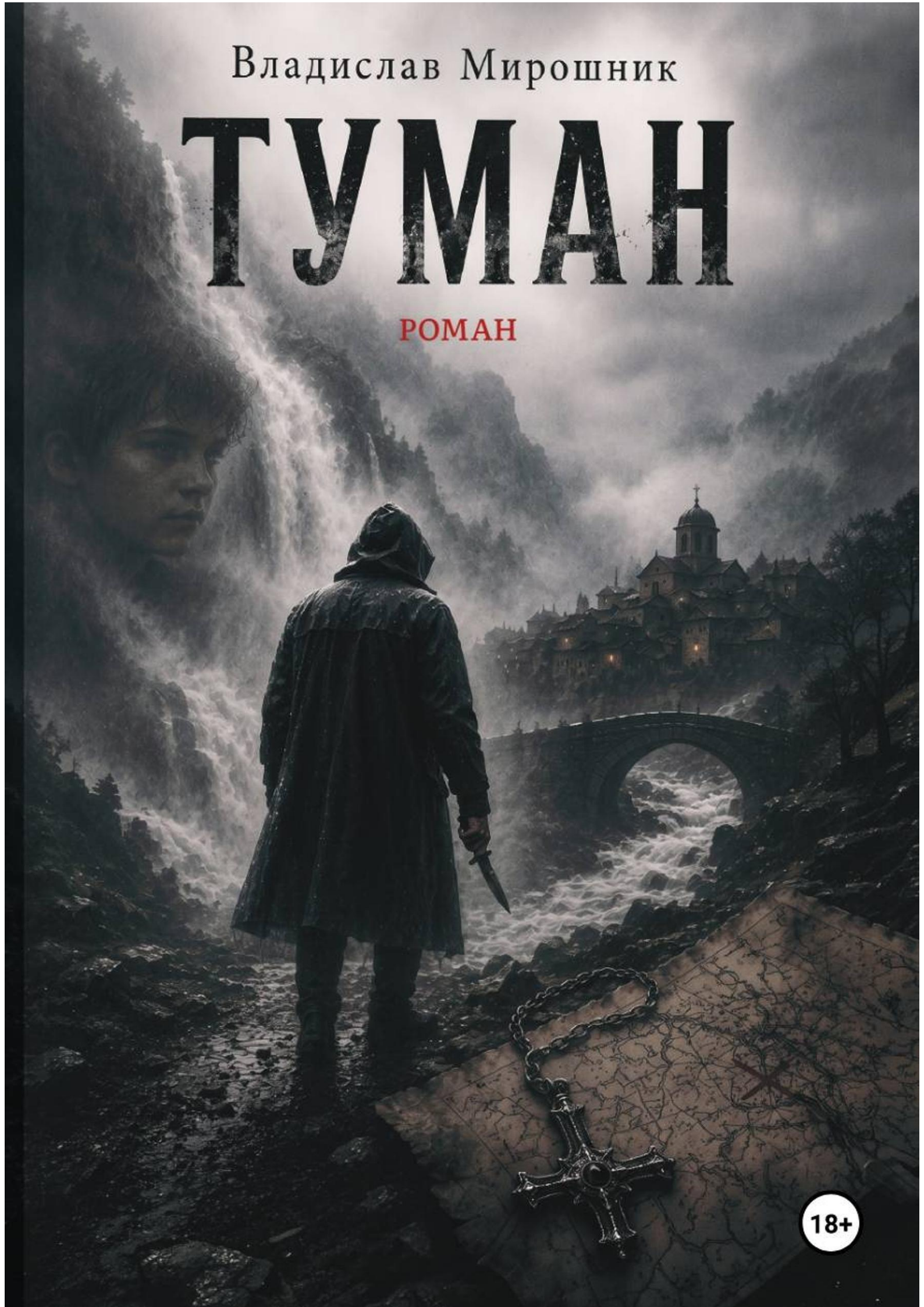


Владислав Мирошник

ТУМАН

РОМАН



18+

Владислав Мирошник

Туман

«Автор»

2026

Мирошник В.

Туман / В. Мирошник — «Автор», 2026

Каждую осень горную хорватскую деревню покрывает туман — плотный, вязкий, рождённый рекой. И каждую осень в тумане кто-то умирает. На протяжении тридцати лет неизвестный методично уничтожает людей, причастных к военным преступлениям сорок второго года. Все знают. Никто не останавливает. Следователь Петер Ковач — бывший партизан, пьющий, честный — ведёт расследование, которое уводит его не к убийце, а к полувековой тайне нескольких семей. В центре этой тайны — мальчик, потерявший голос от увиденного в тумане, и меч из метеоритного железа, который семь веков переходит из рук в руки, меняя тех, кто его держит. «Туман» — роман о том, как добросовестные люди, каждый действуя в соответствии со своей совестью, вместе производят трагедию. О том, что символ опаснее оружия. И о том, что прошлое не исчезает — оно только ждёт, пока его снова позовут.

© Мирошник В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Роман.	5
ПЕТЕР	11
МИЛАН	16
МИХАИЛ	20
МИЛАН	36
Глава	39
АННА	44
ДРАГАН	50
Глава	53
ПЕТЕР	57
ДРАГАН	68
МИЛЕНА	71
МИЛАН	74
АННА	78
МИЛЕНА	80
ДРАГАН	82
МИХАИЛ	87
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Туман

Роман.

2025

МИЛАН.

Туман, густой и вязкий, как сырое шерстяное полотно, медленно сползал с гор и ложился на деревню, заполняя собой расщелины между гор, проулки между домами, кусты можжевельника и даже тонкие пространства между поленьями в огромных приготовленных на зиму поленницах. Пришло его время. Как и каждый год, в конце осени, туман проглатывал высокогорную деревеньку, притулившуюся к хребту и зажатую между лесом и скалами, где, пробивая себе путь, рычала и грохотала река, порождая это природное явление — адвективный туман...

На самом краю деревни, у дороги, ведущей к лесу, стояла маленькая бакалейная лавка Николая — низкий домик с покосившейся вывеской, на которой ещё можно было разобрать выцветшие буквы, внутри пахло мукой, солью, керосином и сушёной рыбой. Николай наклонился над ящиком с мукой, перебирая пальцами белую пыль, проверяя, не отсырела ли она от осенней сырости, потом закрыл крышку и выпрямился, тяжело выдохнув. Последние годы он прожил как человек, умеющий исчезать — переезжал с места на место, менял документы, работал то грузчиком, то сторожем, то продавцом на рынке, пока наконец не оказался в этой глухой деревне, где с весны держал маленькую бакалейную лавку. Здесь жизнь текла тихо, однообразно, люди больше говорили о цене на соль и о погоде, чем о войне, о которой стали забывать и постепенно, почти незаметно для себя, он начал верить, что всё осталось позади, что прошлое растворилось где-то в чужих городах и чужих именах, он даже стал спать спокойно, без тех ночных рывков, когда сердце бьётся как пойманная птица. В этот осенний вечер он уже собирался закрывать лавку, когда туман подступил совсем близко и холодный сквозняк шевельнул ткань на прилавке; Николай машинально оглянулся, думая, что дверь снова плохо прикрыта, и сделал шаг, чтобы поправить её, но в этот момент из тумана в дверном проёме возникла фигура человека в дождевике с накинутым на голову капюшоном. Человек стоял неподвижно, почти сливаясь с серой мглой, и несколько секунд в лавке стояла такая тишина, что слышно было, как где-то на полке тихо осыпается крупа из прорванного мешка. Потом незнакомец негромко сказал: — Помнишь Крижевцы? Слово прозвучало тихо, но оно с силой ударило Николая в грудь, воздух мгновенно стал тяжёлым, и в голове у него будто открылась старая дверь, которую он много лет держал запёртой. Он вскинул голову и всмотрелся в лицо человека, но туман и полумрак скрывали черты, и тогда он увидел глаза — и узнал. Губы его дрогнули. — Ты... — выдохнул он, и в этом коротком слове было всё: и узнавание, и страх, и невозможность поверить, что прошлое всё-таки дошло до него. Человек шагнул ближе, потом тихо произнёс: — За Марту... за Зою... за маленькую Магдалену... и в ту же секунду рука его двинулась быстро и точно; Николай даже не успел дотянуться до ножа на поясе — холодное лезвие уже вошло в шею, глубоко и чисто. Николай ахнул, пальцы судорожно схватили куртку нападавшего, но силы быстро уходили, дыхание стало хриплым, а кровь тёплой струёй потекла по вороту рубахи. Человек выдернул нож и лезвие вышло так же тихо, как вошло. Николай медленно сполз по стене на деревянный пол, опрокинув локтем мешок с мукой. Белая пыль посыпалась на доски, смешиваясь с тёмными каплями крови и становясь розовой. Несколько секунд человек стоял неподвижно, глядя на тело, потом повернулся и вышел в туман; дверь тихо качнулась, и густая серая мгла снова заполнила лавку, скрыв следы. Через минуту всё

стало таким же тихим, как прежде, и только на полу, среди мешков с солью и рассыпанной муки, лежал Николай, как будто просто присел отдохнуть. Но на этот раз — навсегда.

— Туман, туман, — закричал Вук, и все мальчишки, пасшие своих коз неподалеку от деревни, быстро погнали их домой, не давая им разбежаться. Своих шесть коз погнал и Милан, но одна, дойдя до мостика, свернула к ручью и принялась обгладывать куст, росший у воды.

— Бойка, Бойка, — увещевал её Милан, пытаясь дотянуться до козы палкой. Он знал её вредный характер. Но, не обращая внимания на удары, она продолжала обгладывать куст. Делать было нечего, нужно было возвращаться домой, туман приближался, а с ним стародавние страхи. Загнав своё маленькое стадо в хлев, Милан вернулся за упрямицей. Туман уже почти окутал всю деревню, спустился к ручью плотной ватой, а упрямая коза всё не соглашалась оторваться от любимого куста. Милан изо всех сил начал тянуть веревку, привязанную к шее козы, но поскользнувшись на мокрых камнях, упал в воду. Вскочив на ноги, он ударился головой о низкий пролёт моста. Боль была очень сильной, по лбу мальчика струйкой потекла кровь, он ощупал место ушиба и ощутил глубокую ссадину на лбу. Милан наклонился к воде, чтобы промыть рану, но в эту минуту услышал приближающиеся тяжёлые шаги и прерывистое дыхание.

Необъяснимый ужас охватил его. Человек на мосту остановился отдышаться и Милан в щели настила увидел рифлёную подошву ботинка и жёлтый шнурок, покрасневший от крови. Незнакомец наклонился завязать шнурок, и мальчик увидел его руки, обмотанные окровавленными тряпками. Туман скрывал весь облик человека, но кровь на тряпках Милан видел отчетливо. Он затаился, не обращая внимания на мокрую одежду и холод. Когда шаги незнакомца растворились в тумане, словно их впитала сама земля, Милан ещё долго стоял по колено в воде, не в силах сдвинуться с места. Сердце стучало в груди так, будто хотело выбраться наружу. Всё было странно: ни ветра, ни звуков — только белая, молочная мгла, в которой исчезало всё — река, деревья, даже его собственные руки. Он глубоко вздохнул — воздух был сырой и тяжёлый, с привкусом гнилых корней. Потом, точно очнувшись, дернулся к козе. Бойка дрожала, поскальзываясь на глине, и смотрела на него круглыми, мутными глазами — будто сама не верила, что они оба всё ещё живы. Он выволок её на берег, тяжело дыша, — мокрая шерсть липла к его ладоням, руки скользили, как по мху. На миг ему показалось, что кто-то снова идёт сзади, и он обернулся — но там, в тумане, только пустота. Звенящая, живая. Такая тишина бывает перед грозой или смертью. Они медленно пошли к дому — мальчик и коза, связанные тонкой верёвкой и чем-то ещё — пережитым страхом. Земля чавкала под ногами. Но вдруг Бойка, словно очнувшись, повела ушами, рванулась в сторону — и верёвка выскользнула у Милана из пальцев. Он успел только вскрикнуть:

— Бойка!.. Та, как призрак, растаяла в тумане, и только раздвигающийся ворох сырой травы показал, в какую сторону она ушла — к старому стогу у оврага. Он пошёл за ней. Пошёл — не побежал. Ему было страшно — но ещё страшнее было остаться одному. В тумане всё становилось зыбким, неправильным. Казалось, даже стог подрагивает, как живой. Бойка стояла там, как будто ничего не случилось, обнюхивая сено. Когда Милан приблизился, она дёрнулась, но он ловко перехватил верёвку и сразу же, не давая себе ни минуты отдыха, снова повёл её к хлеву. Он тащил её, спотыкаясь. В какой-то момент сам рухнул на колени в грязь, вскрикнул от боли, встал — и снова пошёл. Щека была расцарапана, со лба стекала тёплая струйка. Но он не вытирал — не до того. Он распахнул дверь хлева и толкнул туда животное — без слов, с остервенением. Его трясло, но уже не только от холода — от переизбытка всего: страха, злости, облегчения. Туман всё ещё стелился по двору, как дым после пожара. В доме горел свет. Семья Савичей с начала 50 годов, жили в небольшом, но крепком доме, крытым потемневшей черепицей, которая глухо постукивала во время дождя. Вечерами, в просторной гостиной, в печи потрескивали поленья, стены благоухали лавандой, развешенной Анной в углах, а в узких окнах отражались светлячки. В одной комнате спали Милан и его младшая

сестра Душана, в другой — их родители Михаил и Анна. Анна, высокая женщина с крепкими руками и добрым лицом, схватилась за голову, когда Милан ввалился в дом — мокрый, дрожащий, с разбитой головой.

— Господь всемогущий! Милан, что случилось?! — Она тут же подхватила сына, заставила его сесть на лавку у печи, принялась стаскивать с него мокрую одежду.

— Коза... Бойка... — пробормотал он, заикаясь от холода. Анна зажала губы, но ничего не сказала — только быстро достала чистую рубашку, сунула ему в руки и, пока он переодевался, бегом принесла чистое полотенце, чтобы перевязать рану.

— Вечно с ней что-то случается, давно говорила твоему отцу, что надо её продать.

Милан молчал. Сердце его бешено колотилось.

— Да что же это такое, а? — Анна натёрла ему грудь тёплым мёдом, сунула в ладонь кружку горячего молока. — Вечно с тобой что-то случается!

— Ах, Бойка, чтоб ей... — мать резко махнула рукой, но тут же опомнилась и ласково провела пальцами по его волосам. Дверь со скрипом открылась и в дом неспешно вошел Михаил. Он словно вплыл в комнату вместе с густым туманом, заполнившим дверной проём. Лицо у него было серое, уставшее, взгляд тяжёлый, испытывающий. Присмотрелся — Анна стояла у печки, тихо, с опущенными плечами. В углу, на топчане, под одеялом, сидел Милан, нахохлившийся, как раненый воробей. Голова перевязана, взгляд упрямо уставился в пол. Отец медленно, молча, расстегнул плащ, снял его, повесил на гвоздь. Затем нагнулся, стянул с ног ботинки, неторопливо поставил их к печи.

— Что стряслось? — спросил он, не поднимая глаз.

— В воду свалился! — с упрёком ответила Анна. — Всё из-за Бойки. Да продай ты её наконец, сколько можно!

— Она даёт хорошее молоко, — отозвался Михаил. Он подошел к Милану и присел рядом. Несколько секунд молчал, просто сидел. В тишине этой минуты, такой полной и хрупкой, он вспоминал свои собственные детские страхи, те, что так и не получили утешения. Не привык он к нежности, не учили его этому. Его отец Стефан, суровый и немногословный кузнец, обходился без лишних слов, без прикосновений, считая их слабостью. И сам он потом был таким же, прятал свои чувства глубоко, за панцирем мужества. Но этот мальчик... его глаза, полные застывшей боли, просили чего-то иного. Что-то внутри него самого словно надорвалось. Медленно, преодолевая свою привычную скованность, он положил сильную, потрёпанную годами руку на плечо сына. Крепко, без слов, как будто хотел этим прикосновением вытащить из него всё, что болит, забрать себе, если можно. Рука была тёплая, тяжёлая, неловкая в своей новой роли, но Милан не отпрянул. И в этот момент, в этом молчаливом, почти забытом языке, они оба, кажется, поняли что-то важное о себе, о своей семье, о невидимых нитях, что связывают их сквозь поколения молчания и пережитых бурь. Это было больше, чем просто утешение — это было обещание, выкованное в тишине.

— А это что? — взгляд Михаила остановился на перевязанной голове Милана.

— Упал... — выдавил Милан, ощущая, как внутри всё сжимается в комок. Отец внимательно, долго смотрел ему в глаза. Потом кивнул, как будто соглашаясь с чем-то своим, невысказанным, и медленно поднялся.

— Ладно, отдыхай.

Развернулся и вышел. Милан провожал его взглядом, и вдруг сердце ухнуло вниз. Он увидел... Милан вскочил, дико закричал и упал без сознания. Он не слышал испуганных криков родителей, а очнувшись, с ужасом понял, что не может вымолвить ни единого слова. Голова горела как раскаленная сковорода, его лихорадило, во рту безвольно лежал распухший язык. В натопленном доме было тепло и душно. Печь потрескивала. Милан сидел на лавке, закутанный в отцовский шерстяной свитер. Губы его дрожали — от холода ли, от напряжения ли — неясно. Он пустым взглядом смотрел на взволнованные лица родителей, склонившихся над

ним, потом перевел взгляд на окно. Там, снаружи простиралось белое море тумана. Звуки исчезали в его глубинах, словно заглушенные невидимой рукой. Время в тумане замедлялось, превращая каждый шаг в борьбу с чем-то древним и безжалостным. Он был не просто природной силой – это было существо, которое дышало, смотрело и ждало, скрывая страшные тайны этого проклятого богом места.

Прошло несколько дней напряженного непонимания произошедшего, на все вопросы родителей, Милан не отвечал, продолжая смотреть в одну точку не поднимая головы. Соседи, прознавшие о молчании мальчика, в один голос стали советовать пойти к Таре, деревенской знахарке, которую за глаза все в деревне звали Рогатой Бабкой. Дом Тары, стоял на самом краю деревни, где уже начинался лес. Крытый почерневшими от времени досками, он словно сливался с природой: здесь не было ни забора, ни сада, только густая трава, усыпанная дикими цветами, да скрюченный орех, стоявший у самого крыльца, будто страж у входа. Когда Милан с родителями поднялся по скрипучим деревянным ступенькам, дверь отворилась сама собой, и в проёме появилась Тара — сухая, как старый корень, с волосами цвета пепла и глазами, в которых отражались прожитые десятилетия.

— Вижу, пришли не с добром, — негромко сказала она, осматривая гостей. Мать Милана толкнула сына вперёд.

— Он... он не говорит, — её голос сорвался, но она быстро взяла себя в руки. Тара кивнула, отступая вглубь дома, приглашая их войти. Внутри пахло сушёными травами и ладаном, на столе в глиняной миске лежали корни и какие-то непонятные порошки.

— Садитесь, — сказала знахарка, указывая на лавку. Милан опустился рядом с матерью, а Михаил остался стоять, скрестив руки на груди. Тара подошла к мальчику и легонько коснулась его лица шершавыми пальцами.

— Глаза умные, светлые... страх в них есть, но не тот, что от людей. Это страх тени.

— Что это значит? — Анна сжала руки. Тара медленно провела ладонью по голове мальчика, будто пытаясь уловить что-то неосязаемое.

— Он видел что-то... или кого-то, кто забрал у него голос, — пробормотала она. — Но не болезнь это. Не сглаз и не порча. Тут что-то другое...

Она пошептала какие-то слова, высыпала в ладонь щепотку трав и бросила в огонь. Пламя вспыхнуло, полыхнуло синим, но Милан не дрогнул, лишь опустил глаза.

— Почему он не говорит? — отец впервые подал голос. Тара вздохнула.

— Потому что молчание — это его защита.

— Ты можешь ему помочь? — голос матери дрожал. Знахарка покачала головой.

— Нет, — ответила она тихо. — Если бы это была порча — я бы сняла её. Если бы страх — я бы отвела его. Но здесь... Здесь его душа сама решила молчать. Пока он сам не захочет заговорить, никто его не заставит.

Отец нахмурился, мать стиснула пальцы в кулаки.

— Значит, ничего нельзя сделать?

Тара посмотрела на Милана с какой-то грустной нежностью.

— Можно ждать, — сказала она. — И можно любить. Иногда это лучшее, что у нас есть.

В доме стало тихо, слышно было только, как потрескивает огонь в очаге. Вечером, когда над деревней зависло бледное небо, от которого не ждали ни дождя, ни утешения, в доме было так тихо, что слышно было, как в уголке потрескивает полено в печи. Анна сидела у стола, обхватив ладонями чашку с остывшим чаем, а Михаил стоял у окна, прислонившись лбом к стеклу. За окном уже темнело, и в этом синеватом мраке он видел не своё отражение — видел сына, молчаливого, замкнутого, потерянного.

— Надо показаться доктору, — наконец хрипло выдохнул Михаил, и этот звук показался чужим в наступившей тишине. Он поднял голову, его взгляд, обычно такой твёрдый, на мгновение дрогнул, столкнувшись с осознанием бездны, в которую мог погрузиться его сын.

Голос его стал решительнее, будто принял важное, окончательное решение, и в нём прозвучала непривычная для него, почти отчаянная готовность на любые жертвы.

— Если потребуется, я и Бойку продам... лишь бы ему стало лучше.

Анна не ответила. Она только сильнее сжала чашку. Её губы дрогнули, и по щеке скатилась одна, единственная слеза — такая прозрачная и неслышная, будто и слёзы уже научились быть безмолвными в этом доме. Врача они нашли. Тот был спокоен, говорил без нажима — почти как священник, говорящий с верой.

— Ребёнок физически здоров, крепкий мальчишка. Он пережил очень сильный испуг. Вы должны это понимать и оградить его от переживаний. Ему очень нелегко. Не заставляйте его вспоминать то, что с ним произошло, и не расспрашивайте его. Он не будет разговаривать, пока не испытает стресс такой же силы, и это, возможно, вернёт ему дар речи. Будет лучше если он на время уедет из деревни.

День клонился к вечеру, тени на стенах удлинялись, как мысли, от которых не спастись. Они возвращались из города молча. Войдя в дом, Михаил даже не снял пальто, только сел на табурет, уткнулся руками в лицо и долго так сидел. Анна опустилась на край лавки. Она гладила на коленях носовой платок, вышитый ромашками. Руки её были крепкие, деревенские, но в них — вся нежность мира.

— И что же теперь?

Они молчали. Вечер заползал в дом, как вода под дверь, заполняя щели, дыхание, мысли.

— Может... — сказал Михаил, — может, монастырь?

Эти слова прозвучали сначала как шёпот. Как будто он сам боялся их. Анна посмотрела на него. Медленно кивнула

— Я боюсь за него, Михаил, — сказала она тихо. — Как он там будет один, среди чужих?

Михаил подошёл, сел рядом. Он не был из тех мужчин, кто часто обнимает, но в этот момент прижал её за плечи, по-простому, с мужской тяжестью и с болью.

— Там тишина. Там порядок. Монахи не будут спрашивать, что случилось. А мы... мы будем приезжать, привозить ему тёплые вещи, сало, хлеб...

— А если он не заговорит?

— Тогда мы научимся понимать его без слов, — сказал Михаил. — А пока... пока это единственный путь.

Анна подняла глаза, полные тревоги и материнской веры. В этих глазах — всё, что есть в этом мире: страх и надежда, любовь и бессилие.

— Господи, — прошептала она, — только не оставь его одного. Сделай так, чтобы у него снова появился голос. Чтобы он смог сказать: «Мама».

А в соседней комнате, под старым лоскутным одеялом, Милан лежал с открытыми глазами, глядя в потолок. Он не слышал слов — только чувствовал. Чувствовал запах маминых рук, тепло лампы и горечь тайны, которую он носил внутри. Туман лежал над дорогой, цеплялся за голые ветви деревьев, стелился по низинам, словно живая пелена. Повозка с трудом продвигалась по мокрой глине, колёса вязли, жалобно поскрипывая. Седая лошадь брела шагом, время от времени встряхивая головой, на которой поблёскивал старый кожаный недоуздок. Анна сидела, прижав Милана к себе так крепко, словно в этом объятии была последняя возможность удержать его в своей жизни. Её лицо, осунувшееся за эти месяцы, казалось прозрачным. Губы шевелились, то перешёптываясь с ветром молитвами, то срываясь в еле слышное покачивание — не слова, не песня, а некое материнское заклинание, детская присказка, от которой самой хотелось плакать. Михаил молчал. Лицо его было резким и жёстким, как будто вырезанным из древесины. Только пальцы выдавали волнение — они судорожно сжимали вожжи, словно сдерживая не лошадь, а саму жизнь, мчащуюся не туда, куда хочется. С каждым поворотом дороги в его сердце вставал один и тот же вопрос: «Правильно ли это? Или мы просто сдаёмся?»

— Мне кажется, что мы его предаём, — вдруг сказала Анна, еле слышно. Она не смотрела на мужа — только гладила Милана по затылку. Михаил сжал зубы, не отвечая сразу.

— Мы отрываем его от себя, но не от боли, — продолжала она, глядя в туман. — Как он поймёт, что это не наказание?

— Мы не знаем, как ему помочь, — отозвался Михаил тихо, но жёстко. — Может, хоть они знают. Он не оживает рядом с нами. Мы носим на себе этот страх, как одежду. А он впитывает.

Повозка замедлилась. За пригорком, сквозь туман, проявились монастырские стены.

Старые, обветренные, с чёрными пятнами мха, они стояли, как стража иной жизни — той, где время течёт иначе. Над ними звенели колокольни, тусклые, без звука, но с некой святой неприкасаемостью. У ворот повозка остановилась. Ветер тронул край покрывала, которым была укрыта Анна, и она сжалась, будто сама вращалась в сына. Дубовая дверь приоткрылась, с глухим скрипом. И в проёме появился настоятель. Отец Симеон. Высокий, худой, с серебряной бородой, словно дым от церковной лампы. Он не шёл — плыл по земле, будто нёс внутри себя тишину монастыря. Его глаза были прозрачными и тёплыми, как вода в глубоком роднике. Он не задавал вопросов.

— Мы привезли его, — только сказал Михаил, спускаясь с повозки. Отец Симеон подошёл ближе. Его взгляд сразу нашёл Милана — без удивления, без жалости. Словно он ждал его всегда. Мальчик не смотрел ни на мать, ни на отца. Он смотрел в пространство. Внутри него давно обрушилось всё, и теперь он стоял на руинах, не зная, как вернуться. Отец Симеон опустился перед ним на одно колено. Осторожно, как будто приближаясь к животному, которое легко спугнуть.

— Ты дома, — сказал он, не обращаясь ни к кому, кроме этого, немого взгляда. — Здесь можно молчать. Здесь услышат и без слов.

Анна всхлипнула, но уже без слёз. Михаил стоял, напряжённый. Симеон протянул руку. Милан медлил. А потом — шагнул. Не обернулся. Не оглянулся. Просто ушёл за ним в серые врата, как входит в лес — чтобы заблудиться. Или найти себя. И в этот момент, несмотря на всю боль, Анна поняла: это не конец. Это начало. Там, за толстыми стенами и ароматом ладана, возможно, он впервые начнёт дышать.

ПЕТЕР

Петер сидел в своем прокуренном кабинете районного отделения, где затхлый воздух казался гуще тумана, что когда-то обволакивал горные тропы. Бывший партизан, прошедший войну от первого до последнего дня, он вынес из нее не только раны на теле, но и глубокие, невидимые шрамы в душе. Каждое лицо, встреченное им, каждый взгляд, казался скрывающим тайну. Служба в контрразведке привела к тому, что подозрения стали его второй натурой, а подозрительность — единственным верным компасом в послевоенной жизни, когда вчерашние герои могли стать врагами, а враги — незаметно влиться в новую реальность. Он научился не верить никому, особенно себе. Семья — жена, дети — исчезла в хаосе тех лет, оставив после себя лишь фантомную боль и привкус горечи. Горечь эту он теперь заливал ракией, до тех пор, пока мир не становился менее острым, а воспоминания — не такими назойливыми. Пьянство стало его единственным утешением, а заодно — и причиной перевода из столицы в это забытое Богом районное отделение. Здесь, среди ворохов бумаг и мелких провинциальных преступлений, жизнь его текла уныло и бессмысленно. Дела, которые он расследовал, были скучными, предсказуемыми, и не требовали остроты ума, которой он когда-то гордился. На дворе стояли шестидесятые. Расправы над бывшими усташами были обыденностью, почти рутиной для органов. Никто не удивлялся, когда их тела находили где-нибудь на окраине леса или в заброшенном сарае. Это была грязная работа, последствия войны, которую пытались замести под ковер, но которая все равно прорывалась кровавыми пятнами. Когда пришло сообщение об убийстве в туманной деревне, он почувствовал лишь привычную усталость. Очередной бывший усташ, очередная расправа. Без особого энтузиазма, с тяжелой головой и невыразимой тоской в душе, Петер поднялся. "Туман", — пробормотал он себе под нос, словно это слово само по себе несло зловещее предзнаменование. Это дело, казалось, будет таким же унылым, как и все остальные. Но он ошибался. Пыльная дорога вела в самое сердце деревни, где белёсый туман ещё не рассеялся над крышами низких домов. Петер, тяжело ступая, неторопливо двигался в сторону лавки, в которой убили Николая. Ему было за сорок, но война, потерянная семья и долгая служба сделали его старше. Волосы тёмные, жёсткие, вечно всклокоченные, как будто он только что снял фуражку. Глубокие морщины на скуластом лице, тяжёлый подбородок, который будто привык сжиматься в жёсткой решимости. Он не торопился — опыт подсказывал, что торопливость в расследовании сродни ошибке в шахматной партии: один неверный ход, и дальше будешь только запутываться. Он когда-то был другим. Весёлым, беспечным лейтенантом, у которого была жена, дочь и вера в то, что жизнь имеет смысл. Потом пришла война. Потом был лагерь. Потом пустой дом. А потом — следствие, сыск, работа, в которой ничего личного, только поиск и логика. Лавка представляла собой покосившееся строение с заколоченными ставнями. Петер толкнул дверь — та неохотно поддалась, пропуская его внутрь. Внутри пахло пылью, мокрыми мешками и чем-то сладковато-гнилым. Петер склонился над прилавком, осмотрел пятна на досках, приподнял мешок с мукой, наклонился к полу. Гвоздь, торчавший из доски, был криво вбит — словно кто-то недавно двигал здесь что-то тяжёлое. Он осмотрел стол, выдвинул ящик, пошарил в бумагах. Квитанции, записи поставок... А вот и фотография. Николай, запечатлённый на фоне обгоревшей синагоги. Петер посмотрел на снимок, прищурился, проводя пальцем по уголку пожелтевшей бумаги. Синагога... Значит, он был связан с теми, кто ее поджигал? Или просто проходил мимо?

— Дьявол, — выдохнул Петер, убирая снимок в карман выходя из лавки. Он задержался на ступеньках, щурясь от солнца, которое, казалось, не знало ни о вчерашней крови, ни о сегодняшнем молчании. Он медленно пошёл по пыльной улочке, ведущей к краю деревни. Дома были низкие, облупленные, с крытыми виноградом верандами, и в каждом чувствовалось что-то недосказанное. Воздух был густ, стоял без движения, как перед грозой. Из-за плетня, покры-

того выющимся плющом, доносились голоса: тонкие, старческие, ворчливые. Петер замедлил шаг, остановился. У ворот, как у живой книги памяти, сидела старуха — высохшая, в черной кофте с потёртыми пуговицами, с руками, покрытыми пятнами времени. Её глаза были острые, как иглы, и внимательные.

— Вы про Николая? — спросила она, не дожидаясь, пока он что-то скажет. — А вы кто?

— Следователь, — ответил Петер, неохотно. — Собираю сведения. Кто мог его видеть последним? Кто знал его лучше других?

Старуха долго молчала, будто взвешивая: стоит ли с ним говорить. Потом фыркнула, откинувшись на спинку скамейки.

— Кого вы спрашиваете? Людей? Люди молчат. Только одна у нас может знать — Тара. Ветру верит. Землю слушает. А ещё — прошлое помнит.

— Кто она?

— Она не простая. Её бабка повивальной бабкой была, а мать — зелья варила. Тара сама не скажет лишнего, но всё видит. Только ты к ней не как следователь иди, не с бумагами своими. С уважением иди. Тогда, может, и услышишь то, что другим она молчит.

Петер собрался было спросить, как найти Тару, но старушка опередила его.

— Живёт на краю деревни, за ручьём. Ближе не подходит никто. Боятся. А зря. — Старуха глянула на него в упор. — Но, если хотите что-то узнать — идите.

Дорожка вела к покосившейся избушке. Крыша заросла мхом, в ставнях затаилась сырость. На крыльце стояла женщина, Она щурилась, прикрывая глаза от бледного солнца. Тара стояла у крыльца, заслоня ладонью глаза от заходящего солнца. Она сразу поняла, кто перед ней, ещё до того, как Петер открыл рот и показал удостоверение.

— О, господин следователь... Значит, всё-таки приехали, — протянула она, будто бы вовсе и не удивившись.

— Да, — Петер убрал удостоверение в карман. — Вы ведь знали Николая?

Тара хмыкнула, подняла ведро с очистками и, не торопясь, направилась к сараю.

— Это не первый раз, когда мрак в деревню приходит с человеком. Он сам по себе будто ничего... но тень за ним тянулась. С Николая тень серая была, и ветер за ним по утрам шёл другой. Слишком тихий.

Он показал ей фотографию Николая. Она долго смотрела на неё.

— Видела я его. Только не глазами. Чувствовала. Словно чужая душа в его теле сидит. Не своя. Не целая.

Петер тихо задал свой главный вопрос:

— Почему вы думаете, что его убили не просто так?

— А вы помните, господин следователь?

Петер не моргнул.

— Войну?

— Не только её, — Тара усмехнулась, поправила платок. — Люди ведь думают, что время лечит. А оно, знаете, скорее как капкан — раз, и щёлкнуло.

Петер знал этот тип людей. Те, кто умеет говорить загадками, кто всегда знает чуть больше, чем положено, но скажет ровно столько, сколько считает нужным.

— Кто мог пожелать ему смерти? — спросил он.

— Кто-то, кто знал его лучше, чем хотелось бы.

Петер достал папиросу, но не закурил.

— Вы говорите загадками, госпожа Тара.

— Потому что я это почувствовала в ту же ночь. Потому что в ту же ночь мне снились вороны, летящие низко. А утром, — она подняла глаза на него, — ко мне привели мальчика. Немого.

Петер чуть изменился в лице.

— В каком смысле?

— В прямом.

Петер сжал губы, внимательно посмотрел на неё.

Тара вздохнула, глядя куда-то в сторону.

— Был говорливый... А потом вдруг – раз. И всё.

— А что случилось?

Тара усмехнулась, но уже без насмешки.

— Вам к Савичам. К Анне его матери. Они с Михаилом — хорошие люди. Но что-то случилось. А я — не Бог, чтобы всё знать.

— Думаете, стоит с ней поговорить?

Тара пожала плечами.

— Попробуйте.

Петер кивнул, сунул руки в карманы и направился по узкой тропе к дому Михаила. Он шагал по жёсткой земле, примороженной к вечеру, поглядывая по сторонам. Всё выглядело обычно — где-то хлопнула калитка, кто-то загнал корову в хлев, но за этой обыденностью скрывалась глухая напряжённость. Он знал её слишком хорошо. Дверь дома Михаила открылась не сразу. Петер постучал ещё раз, и тогда щеколда со скрипом отошла. Женщина на пороге смотрела на него в упор. В глазах её мелькнул испуг, мгновенный, почти незаметный, но Петер не пропустил его. — Анна Савич? — Он достал из кармана удостоверение, развернул его. — Петер Ковач, следователь. Можно войти? Анна перевела взгляд с него на удостоверение, потом снова на него. Глаза её стали твёрдыми.

— По какому делу?

— Мне нужно поговорить с вашим сыном.

— Проходите, — наконец сказала она, чуть хрипло. В доме пахло хлебом и луковой похлёбкой. За столом сидел Михаил, неподвижный, как камень, с покрасневшими от бессонницы глазами. Анна провела Петра в кухню и предложила стул.

— Он... не может говорить, — выдохнула она.

— Что случилось?

Анна села напротив, обхватила себя руками.

— Он пас коз у ручья, когда начался туман, упал в воду, а когда поднимался, ударился головой о мост, прибежал весь мокрый, голова в крови, а потом как закричит и в обморок упал, очнулся, а говорить не может. Беда, беда... Петер кивнул, записывая.

— Вы его водили к Таре?

— Да. Она сказала, что у него не страх, а шок. Что, может быть, он что-то пережил, что словами не передать. Мы поехали к врачу. Он велел увезти его из деревни. Мы отвезли Милана в монастырь. Там, тишина и порядок.

— Где монастырь?

— У озера. За холмом, дорога старая, кривая. Я скажу, как ехать.

Петер встал.

— Спасибо.

Анна проводила его до двери. На прощание задержала взгляд на нём чуть дольше, чем принято. Дверь закрылась у него за спиной. Петер пошел в церковь. Тело Николая лежало в холодной комнате. Петер осмотрел рану. Нож вошёл точно, без суеты, почти профессионально.

— Не первый раз, — пробормотал он.

Последним пунктом маршрута стала корчма. Хозяин, низкорослый мужчина с лысеющей головой, поставил перед ним кружку. Петер сделал глоток, стряхнул пепел с сигареты.

— Николай давно здесь жил?

— Летом переехал, откуда не знаю. Лавку бакалейную открыл.

— Кто его знал лучше всех?

Корчмарь пожал плечами.

— Да никто особо... Замкнутый был, много не болтал.

— А враги?

— Тут у каждого свой враг.

Петер медленно поставил кружку на стол и прикурил новую сигарету от окурка. Когда Петер вышел из корчмы, небо было почти чёрным. Хмурое, глухое, только на западе осталась полоска выцветшего золота, которая быстро съёжилась и погасла. Ветер усилился, деревья закрипели над крышей, как старые двери. Он достал из кармана пачку и закурил. Табак был влажный от тумана. Оглянулся — улица, как вымерла. Только тусклый свет в окнах да редкие шаги за забором. Николая убили — и никто ничего не видел. Или видел, но молчит. Молчит так же, как Милан. Петер сел в машину и тронулся. Дорога к монастырю шла в сторону озера — узкая, старая, покрытая корнями, которые вились под колёсами, как змея под снегом. По бокам тянулся сырой лес, а над головой повисла густая мгла. Фары выхватывали из темноты мокрые ветви и выбитые дорожные кресты. Однажды он даже остановился — показалось, что кто-то мелькнул на обочине. Но это, вероятно, был туман. Монастырь появился внезапно — массивные ворота, каменная ограда, силуэты корпусов за деревьями. Звон у калитки прогремел, как выстрел. Петер ждал. Наконец в темноте появилась фигура — худой мужчина в чёрном подряснике, с глубокими глазами. — Добрый вечер. Я Петер Ковач, следователь. Мне нужно поговорить с одним из ваших... воспитанников. Мальчик. Милан Савич. Монах кивнул и жестом пригласил внутрь. Повёл по узкому коридору, где пахло ладаном, сыростью и горячим молоком. За деревянными дверями слышались отрывочные молитвы, где-то капала вода.

— Отец Симеон вас ждёт, — сказал он.

Симеон оказался невысоким, сухощавым, с глубокой складкой между бровей. Он сидел за столом, на котором лежала раскрытая книга и простая глиняная лампа. Петер представился, достал удостоверение. Отец кивнул.

— Милан здесь, — сказал он. — Но я прошу вас... быть бережным.

— Он что-то видел?

Симеон молчал. Потом поднял глаза.

— Возможно. Но то, что в нём — не только страх. Это... рана, которую нельзя дотрагиваться словами.

— Мне нужно хотя бы попытаться.

— Хорошо. Но если вы почувствуете, что он уходит в себя — остановитесь. Иначе он замкнётся окончательно.

Комната была крохотной — только кровать, стол и распятие на стене. Мальчик сидел у окна, колени подтянуты к груди, взгляд — куда-то за стекло. Петер вошёл тихо, сел напротив, положил руки на колени, не приближаясь.

— Милан?

Тот не ответил. Даже не повернулся.

— Я Петер. Мне рассказали, что ты видел кое-что важное.

Пауза. Петер продолжал:

— Я не заставляю тебя говорить. Но если ты можешь — просто кивни. Или покачай головой. Мне этого хватит.

Мальчик не шевелился. Петер достал фотографию Николая, но не стал показывать.

— Я думаю, ты был у моста. Я думаю, ты видел, кто подходил к дому. Может, ты даже знаешь, кто сделал это. И, может, ты молчишь, потому что боишься.

Он замолчал. Комната наполнилась тишиной, в которой было слышно, как за стеной скрипит пол, а где-то далеко звенит колокол — глухо, как в глубокой воде. Петер поднялся. Хотел уже уйти, но вдруг Милан медленно повернул голову. Его глаза были без фокуса, будто

он смотрел не на Петра, а сквозь него. Потом мальчик вздрогнул, как от холода, и резко закрыл лицо руками. Отец Симеон появился у двери мгновенно, как будто всё это время стоял за ней.

— Хватит, — сказал он тихо, но жёстко.

Петер кивнул. Больше он не мог. Он ехал обратно поздно вечером. Фары прорезали туман, ветер колотил по капоту. Петер курил сигарету одну за другой. Его лицо было напряжённым, стиснутое подбородком и хмурым лбом. Он чувствовал, что упускает что-то важное. Что всё это связано: немота мальчика, смерть чужака, молчание деревни. Монастырь остался позади — белое пятно в чёрном лесу. Впереди был город.

МИЛАН

Два дня прошло с тех пор, как Милан впервые ступил на влажную, вязкую землю возле монастыря. Два дня, вместившие в себя столько неизведанного, столько пугающего. После визита Петера, когда чужой взгляд пронзил его насквозь, Милан еще некоторое время неподвижно сидел у окна своей маленькой кельи. Он смотрел, как клубящийся туман, словно серая, мягкая вата, медленно поглощает последние отсветы дня, погружая сумерки в бескрайнюю пучину непроглядной тьмы. В его маленькой детской душе распространялась какая-то тяжесть, схожая с этим туманом – плотная, липкая, без имени и очертаний. Он не мог понять, что это: тревога, сжимающая грудь при каждой мысли о незнакомце, или тоска по чему-то утраченному, что он не успел познать, или же просто беспричинный страх, шепчущий из самых темных уголков сознания. Одиночество, которое он чувствовал всегда, с приходом Петера не только не проходило – оно усилилось, обернулось холодным, удушающим покрывалом. Мир вокруг, казалось, сужился до размеров этой маленькой комнаты, а за ее пределами таилось нечто неведомое и враждебное. Снаружи прозвучал колокол. Завтра начнется новая жизнь. Ученики монастырской школы сидели за длинными столами, кто-то читал, кто-то писал, кто-то просто грыз кончик карандаша, глядя в окно. Когда Милан вошёл, на него сразу обратили внимание.

— Это он, новый? — донёсся шёпот.

Кто-то прыснул, кто-то смотрел с любопытством.

— Говорят, он немой, — сказал кто-то вполголоса.

Милан опустил глаза. Но тут к нему подошёл мальчик с копной рыжеватых волос.

— Ты Милан? — спросил он.

Милан кивнул.

— Я Зоран. Ты теперь со мной за одной партой.

Милан снова кивнул. Зоран фыркнул.

— Ну и ладно, если не хочешь говорить. Я и так могу за двоих.

Он ухмыльнулся, хлопнул Милана по плечу и сел рядом. Милан впервые за долгое время почувствовал, что он не один. Жизнь в монастырской школе шла по звуку колокола — не по желанию. Подъём в темноте, когда пол ещё хранил ночной холод и босые ноги на камне казались чужими. Потом молитва в храме, где дыхание десяти мальчиков висело в воздухе белыми облачками. Потом хлеб с молоком — всегда одинаковый, всегда горячий, всегда молча. Милан привык быстро. Руки, с детства знавшие работу, легко нашли себе место: в саду, у колодца, в дровянике. Он колол дрова — ровно, без лишних движений, как учил отец. Монахи замечали это и молчали. Их молчание было другим, чем его, — не вынужденным, а выбранным, и в этом была странная близость. Осенью, когда иней прихватывал траву по утрам, он насыпал в кормушки зерно — не потому что велели, а потому что воробьи ждали. Они слетались сразу, толкались, роняли крошки, и Милан стоял и смотрел на них дольше, чем нужно.

Осенью вечера становились особенно таинственными. В учебных залах зажигались свечи, и ученики, собравшись вокруг пламени, рассказывали друг другу истории. Тени плясали на стенах, превращаясь в призрачные силуэты. Один из монахов, брат Дамаскин, говорил, что монастырь хранит множество тайн. Он рассказывал, как в давние времена по этим коридорам бродили души усопших, а в подвалах можно было услышать шёпот исчезнувших монахов. Иногда во время таких рассказов за окном раздавался глухой стук ветра, и кто-то невольно вжимался в плечо соседа. Но самым страшным был рассказ Зорана о призраке монастырского колокола. Говорили, что в полночь он звенел сам по себе, предупреждая о несчастье. И если в эту минуту кто-то находился во дворе, его могли утащить в туман те, кого давно не было среди живых. Милан не верил в призраков, но в такие моменты даже он ощущал ледяное дыхание страха, пробирающееся под одежду. В такие вечера он особенно крепко сжимал свой

дневник, словно в словах, записанных на страницах, таился ответ на все загадки, окружающие его. Среди всех учеников Милан особенно сблизился с Зораном. Рыжеволосый, веснушчатый мальчишка, он был полной противоположностью Милана: громкий, весёлый, вечно суетливый. Он болтал без умолку, но никогда не лез с расспросами о прошлом друга. Они вместе выполняли работу, вместе учились, вместе прятались на чердаке школы, где можно было слушать ветер, завывающий в щелях старой крыши.

— Ты всё пишешь в свою книжку? — спросил Зоран однажды, заглянув в дневник Милана.

Милан кивнул.

— Ну, хоть напиши там, что я самый красивый человек в монастыре! — рассмеялся Зоран.

Милан усмехнулся и вывел несколько букв. Зоран заглянул и прочитал: «Зоран самый болтливый человек в монастыре».

— Ах ты! — воскликнул он, ударив Милана по плечу.

Так крепла их дружба. Вместе они исследовали монастырь, пробираясь в подвалы, где пахло сыростью и воском, находя старые книги, забытые вещи, древние замки. Иногда они взбирались на колокольню, смотрели вдаль, на тёмный лес за монастырскими стенами, и мечтали.

— Когда-нибудь мы уйдём отсюда, Милан, — говорил Зоран. — Ты будешь великим писателем, а я — богатым купцом!

Милан только качал головой и улыбался. Но не все в монастыре были дружелюбны. Роберт Фуца, сын деревенского старосты Фуца из соседней деревни, привык, что ему во всём потакают. Высокий, крепкий, с надменно вздёрнутым подбородком, он с первого дня возненавидел Милана за его молчание. Казалось, его раздражало само существование того, кто не вставал перед ним по стойке смирно, не выказывал подобострастия.

— Немой! — дразнил он. — Может, ты и писать скоро разучишься?

Милан терпеливо игнорировал насмешки, но однажды терпение его лопнуло. В тот день Роберт, заметив дневник Милана, с кривой усмешкой выхватил его.

— Ну-ка посмотрим, о чём болтает наш молчун! — заявил он, перелистывая страницы.

Милан бросился вперёд, но Роберт увернулся, раздирая страницы в клочья. Ещё мгновение — и Милан уже не помнил себя. Его кулак, крепкий от ежедневного труда, врезался в лицо Фуцы, и тот с глухим стуком рухнул на землю. Мгновение он лежал, ошарашенно моргая, а потом с рычанием вскочил, вытирая кровь с губы.

— Ты за это заплатишь! — прошипел он, сжимая кулаки.

И заплатил бы, если бы не Зоран. На следующий день, когда Роберт привёл с собой двоих помощников, Зоран уже ждал рядом с Миланом. Бой был коротким, но яростным. Милан и Зоран дрались плечом к плечу, и хотя им досталось, они дали понять, что Милан — не та жертва, на которую можно охотиться безнаказанно.

С того дня Роберт Фуца не осмеливался нападать на Милана в открытую, но его взгляд, полный ненависти, следовал за ним повсюду. Шли годы. Монастырские стены, некогда казавшиеся Милану огромными и пугающими, теперь стали привычным фоном его дней, наполненных учебой и трудами. Он больше не был тем маленьким мальчиком, испуганным туманом и одиночеством. Рядом с ним вырос и Зоран, его верный товарищ, с которым они делили скудные обеды и тайные мечты. Неуловимо, но верно, детские лица заострились, голоса опустелись, а в движениях появилась угловатая грация юности. И вот, вместе с пробуждением природы после долгой зимы, пришел и возраст первых, робких увлечений. В соседней деревне, куда они иногда ходили по поручениям, жили две девушки — бойкая, смешливая Марика и тихая, задумчивая Галинка. Однажды, вернувшись из деревни, Зоран, сияющий и взволнованный, потянул Милана в сторону, подальше от любопытных глаз. В его голосе звенела непри-

вычная гордость. — Мы с Марикой будем встречаться, — выпалил он, и его взгляд светился почти лихорадочным счастьем. Милан лишь кивнул, пытаясь выдавить улыбку. Сердце его сжалось, но не от зависти. Оно сжалось от понимания, что этот мир, доселе казавшийся простым и понятным, теперь начинал обростать новыми, запутанными чувствами.

— А ты, Милан? — внезапно спросил Зоран, и его сияние немного померкло, уступая место внимательному, пронизательному взгляду. — Галинка так на тебя смотрела!

Галинка... Милан знал, что Зоран прав. Галинка действительно нравилась ему. Её светлые, будто выцветшие на солнце волосы, мягкий смех, который она всегда прятала в ладони, когда смущалась, и глаза — глубокие, как колодцы, полные какой-то скрытой печали. Он чувствовал её взгляд на себе, ощущал легкое покалывание, когда она проходила мимо. Но что делать с этим чувством, с этой новой, неведомой силой, что вдруг расцвела в его груди, Милан не знал. Он, привыкший к строгому распорядку монастырской жизни и аскетизму, был совершенно беспомощен перед этим простым, но таким сложным влечением. Впервые за долгое время он ощутил себя потерянным не в тумане, а в паутине собственных, еще не оформившихся, желаний. Однажды Милан брёл по тропинке, укрытой тенью старых дубов, и вдруг остановился. У колодца стояла Галина, поправляя ведро на краю. Её волосы, освещённые заходящим солнцем, казались золотыми. Он сглотнул, чувствуя, как внутри поднимается тёплая волна волнения. Ему хотелось подойти, но ноги словно приросли к земле. Вдруг ведро накренилось, и вода выплеснулась через край.

— Ах! — вскрикнула Галина, отпрыгивая.

Милан, будто очнувшись, быстро шагнул вперёд и ловко подхватил ведро. Она взглянула на него с удивлением.

— Спасибо, — сказала она, вытирая руки о подол платья. — А я думала, ты не заметишь.

Милан кивнул и указал на ведро, словно спрашивая, всё ли в порядке.

— Всё хорошо, — улыбнулась Галина. — Ты... ты ведь не говоришь, да?

Он вновь кивнул. Девушка на мгновение задумалась, а потом добавила:

— Но ведь можно общаться и без слов, верно?

Милан посмотрел ей в глаза. В них не было ни жалости, ни насмешки — только любопытство и что-то ещё, тёплое, мягкое. Он медленно достал из кармана ножик и вырезал на деревянном косяке колодца простое слово: «Да».

Галинка провела пальцами по резьбе, улыбаясь.

— Значит, ты не прочь поговорить. Ну что ж, Милан, тогда нам стоит чаще встречаться.

Она взяла ведро и направилась к дому, а Милан ещё долго стоял у колодца, глядя ей вслед и ощущая, как в груди разгорается новое, неизведанное чувство. Той ночью он долго сидел над чистым листом при свече.

Писал — зачёркивал. Писал снова. Слова не давались, скользили, выходили правильными, но мёртвыми — не теми, что он чувствовал. Он хотел написать про её волосы и про то, как она прячет смех в ладонь, и про ведро, которое едва не упало, — но всё это на бумаге становилось маленьким, плоским, не похожим на то, что происходило внутри. В конце концов он написал одно слово. Зачеркнул. Написал другое. Оставил. Сложил листок, не перечитывая. Завтра положит у колодца. Свеча догорела прежде, чем он лёг спать.

Позже они гуляли в лесу, долго молчали, слушая шёпот листвы, купались в реке — Галинка смеялась, плескала в него воду, а Милан, затаив дыхание, смотрел, как солнечные лучи играют на её плечах. В ночной тишине, сидя в монастырском дворе, Зоран шептал:

— Милан, ты ведь её поцеловал?

Милан отворачивался, но Зоран смеялся:

— Эх, немой, а рассказывать не хочешь! Я-то знаю!

Юные чувства, робкие прикосновения, волнение первого поцелуя — всё было новым, неизведанным. В такие мгновения мир становился другим, словно в нём было только это лето, этот сад и голос Галинки, звучащий нежно и близко.

Зоран был более решителен. Когда он увидел Марику, то не раздумывал. Он подошёл, взял её за руку и, улыбнувшись, сказал:

— Ты будешь моей.

Марика засмеялась, но не отняла руки. Их встречи были бурными, страстными. Они убежали в лес, целовались, хохотали, падали в траву, шептались друг другу тайны. Он не боялся её, и она отвечала ему тем же. Однажды вечером Зоран вернулся с травой в волосах и царапиной на щеке. Сел рядом с Миланом, помолчал — что для него было редкостью — и только потом сказал:

— Она меня укусила. — И засмеялся так, что Милан невольно улыбнулся тоже, хотя ничего не понял.

Зоран рассказывал охотно, в подробностях, не стесняясь. Милан слушал и качал головой — не осуждая, а просто не зная, куда девать всё это. Зоранов мир был устроен проще и громче. В нём не было пауз, в которых прячется самое важное.

Вечерами Милан исчезал из виду — его можно было найти в тишине монастырской библиотеки, где каменные своды хранили дыхание веков, а страницы книг — голоса давно ушедших людей. Он любил истории о странствиях и сердцах, горящих, как костры на ветру. Они были не просто выдумкой — они приоткрывали завесу тайного, чего-то более настоящего, чем даже жизнь за стенами монастыря. Однажды его рука наугад потянулась к потрёпанному томику с золотым тиснением на корешке. «Граф Монте-Кристо», довоенное издание. Тонкая кожа корки потрескалась, страницы пахли временем и дымом. Милан осторожно открыл книгу — и вдруг, с лёгким звоном, что-то выпало из неё и покатилося по полу, звеня, как капля металла в колоколе. Он нагнулся и поднял находку. Это было кольцо. Потемневшее, тяжёлое, покрытое странным узором, похожим на извивающуюся волну. Оно лежало в его ладони, как будто всегда там и было. Почему-то казалось — не он нашёл кольцо, а кольцо — его. Он постоял в тишине, словно боясь нарушить этот странный миг. Затем развернулся и, почти бегом, направился к келье отца Симеона. Старец сидел у огня, перебирая чётки, когда Милан положил кольцо на стол. Молчание повисло, как занавес, и только пламя потрескивало в камине. Отец Симеон долго смотрел на кольцо. Потом взял его, поднёс к глазам, вздохнул.

— Я не видел его много лет...

Он перевёл взгляд на Милана, его глаза наполнились глубокой грустью.

— Это кольцо Михаила Савича, твоего отца — произнёс он наконец. — Когда-то оно было символом любви, клятвы, которую он дал Милене... Их история — это трагедия и чудо, страсть и испытание. Садись, Милан. Я расскажу тебе о них... Милан опустился на лавку, а Симеон начал рассказывать. Его голос звучал, как шёпот времени, переноса мальчика в прошлое, полное тайн, предательств и великой любви.

МИХАИЛ

1941 год, в Европе полыхает война. Она приближалась к горной деревне, но пока здесь царило затишье. Деревенская жизнь шла своим чередом, будто неведомая сила защищала эти места от бушующего огня. На базаре торговцы выкладывали на прилавки фрукты и хлеб, женщины у колодца обсуждали погоду, а дети бегали босиком по пыльным дорогам. Но в воздухе уже витала тревога. Мужчины чаще собирались в трактирах, обсуждая вести, что приносили проезжие купцы. По вечерам, когда солнце пряталось за холмами, тени становились длиннее, а разговоры тише. Люди словно чувствовали дыхание войны, но старались не замечать его, цепляясь за привычный порядок вещей.

Старая кузня Стефана Савича стояла на самом краю деревни, чуть в стороне от пыльной дороги, ведущей в лес. Её стены, сложенные из обугленных вековых брёвен, ещё помнили тяжёлые удары молота, звонкого и певучего, как набат, разносящегося по утреннему воздуху. Высокая крыша, крытая почерневшей от времени дранкой, местами осела, и теперь казалась сутулой, как старик, согбенный от прожитых лет и тяжести воспоминаний. Внутри – вечный полумрак, пахнувший железом, гарью и потом. В углу, прислонённый к стене, стоял громадный мех, с кожаными клапанами, тугими, как натянутая кожа барабана. Едва ли не самое сердце кузни – наковальня, массивная, с гладкой, вылизанной десятилетиями поверхностью, на которой ещё можно было разглядеть едва заметные следы прошлого труда: выемки, бороздки, оставленные молотом. Над всем этим – закопчённые стены, увешанные кривыми клещами, молотками, щипцами и прочими незамысловатыми, но необходимыми инструментами, которые безмолвно покоились в своей нерушимой старой гармонии. Казалось, они дремлют, но стоит лишь хозяину разжечь горн, вдохнуть жизнь в угли – и кузня оживёт, проснётся, заговорит языком раскалённого металла, звоном выковываемых подков и серпов, тяжёлым дыханием мехов, что пульсируют в унисон с ритмом древнего ремесла. В углу – старая икона, вся в копоти, над ней висят охотничьи ножи, клинки, подковы. Под ногами валяются обломки железа. Михаилу Савичу – девятнадцать, он высокий, жилистый, с руками, испещрёнными ожогами. Отец Стефан работал рядом – огромный, с седыми висками, в фартуке, вымазанном сажей. Не отрываясь от молота, он ритмично бил по раскаленному металлу. Искры разлетались в стороны. В старой кузне стоял тяжёлый запах раскалённого железа и угля. Отец Михаила, не отрываясь от молота, ритмично бил по раскаленному металлу. Искры разлетались в стороны.

— Не отвлекайся, Мишко. «Железо ждать не будет», — произнёс отец, ритмично работая молотом.

Михаил повернул заготовку щипцами, наблюдая за металлом. В глазах мелькнуло сомнение.

— Отец, я слышал, в городе новая кузница открылась. «С подмастерьями», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— И что с того? — отец не прерывал работы.

— Может, и нам стоит... — Михаил замялся.

— Стоит что? — отец опустил молот. — Расширяться? Брать учеников?

— Да.

— А ты готов учить других? — отец внимательно посмотрел на сына. — Сам-то всё постиг?

В этот момент в кузню вошёл Драган — худощавый, щеголеватый юноша с хитрой улыбкой. Он был другом Михаила, но в его ухмылке уже чувствовалась некая фальшь.

— Что куёте? — спросил он, разглядывая раскалённый металл.

Подковы для купеческого обоза, — ответил Михаил. — Завтра к вечеру должны быть готовы. Драган присел на старый чурбак: — В городе говорят, война на западе началась. Скоро

всем кузнецам работы прибавится. Отец Михаила поднял голову: — Война кузнецам не в радость. Мечи ковать — не подковы делать.

— На водопаде сегодня все собираются, — сказал Драган, присаживаясь на чурбак. — Пойдёшь? Милена тоже будет.

Михаил помедлил, глядя на отца. Тот кивнул: — Иди. День жаркий, железо накалилось. Тебе тоже остыть не помешает. Михаил провёл рукой по лбу, вытирая пот: — А как же работа?

— С железом мы почти закончили, — отец опустил молот. — Вечером вернёшься — покажешь, как ты клинок закалил.

Драган поднял брови: — Клинок? А говорят, у каждого кузнеца свой секрет закалки. Отец бросил раскалённую заготовку в воду: — Секрет один — знать, когда железо готово. Торопиться нельзя, но и момент упускать нельзя.

— В чём же разница? — спросил Михаил.

— В том, что, если поторопишься — клинок хрупким станет. А если опоздаешь — мягким. Так во всём, — отец взглянул на сына. — Запомни это. Михаил снял фартук:

— Идём?

Дорога к водопаду, узкая и извилистая, словно старая забытая тропа, вилась между холмами, пробиралась сквозь заросли орешника, взбиралась на гребни покрытых сухими травами пригорков и снова спускалась в тёмные, сырые лощины. Она была будто высечена временем — выбитая копытами выючных лошадей, размытая осенними дождями, засыпана пылью летнего зноя. По краям её густо росли бурые кусты шиповника, изогнутые, колючие, с редкими алыми ягодами, словно засохшими каплями крови. Вдоль обочины пестрел бурьян — высокий, жёсткий, с белыми венчиками дикой ромашки, дрожащими от малейшего ветра. Изредка встречались корявые корни, выползавшие из земли, цепляясь за воздух, за саму жизнь. Чем дальше в лес, тем гуще становилась тень, влажный сумрак наполнял тропу, делал воздух прохладным и неподвижным. Между деревьями, в глубине чащи, тускло поблёскивали болотца, поросшие зелёной тиной, над ними вились тучи мошкеры, слышалось упрямое стрекотание кузнечиков. Но стоило выйти на поляну, как всё менялось. Ветерок приносил тяжёлый, сырой гул — отдалённый, но уже властный, как дыхание чего-то великого. Тропинка сужалась, уходила в заросли ежевики, пробиралась через огромные, почерневшие от времени валуны. А за ними, внезапно, открывалась пропасть — зелёное ущелье, заросшее дубами и кленами, спадающее вниз отвесными каменными стенами. Там, внизу, бился водопад. Сверкающий, ослепительно-белый, он падал с высоты, разбиваясь на тысячи мельчайших капель, клубился пеной, неслышно шевелил траву и мох, прятал в своей прохладе сонные лужайки и влажные корни старых деревьев. И стоило закрыть глаза, как можно было услышать в его шуме целую историю — мерный гул времени, перешёптывание веков, бесконечную, ускользающую вечность.

— Ты когда-нибудь хотел просто исчезнуть? — спросил Драган, глядя в темноту.

Михаил хмыкнул, не отрывая взгляда от тлеющих углей.

— Что за глупости?

— Не глупости. Ну, вот просто... уйти. Чтобы никто не знал — где ты, жив ли, с кем ты вообще.

Михаил промолчал. Только бросил в костёр сучок, и тот с треском разлетелся искрами.

— Нет, — сказал он спустя пару секунд. — Я не из тех, кто уходит.

— Конечно, не из тех, — усмехнулся Драган. — Ты ж как гвоздь — вбитый. Дом, кузня, отец, все дела.

— А тебе что — плохо тут?

— Мне? — Драган прищурился. — Я как трава. Где ветер — там и я. Не хочу ржаветь в этой дыре.

— А я не ржавею. Я делаю то, что умею.

— Вот именно. Ты умеешь. А я хочу. Есть разница.

Михаил посмотрел на него пристально.

— Тебе бы мечтать поменьше.

— А тебе — хоть раз не по правилам.

Повисла тишина. Только в лесу, где-то далеко, каркнула ворона. Михаил первым вышел из леса. В воздухе висел тяжёлый запах мокрого камня, размякшей листвы и свежей воды. Драган, шедший позади, споткнулся о корень, выругался, но тут же замер, глядя вперёд.

— Ух ты... — только и выдохнул он.

На плоском камне стояла Милена. Ветреная, смеющаяся, с растрёпанными от влаги волосами, она смотрела на них с лёгкой насмешкой, держа в руке прутик, которым чертила на мокром камне невидимые узоры.

— Я уж думала, вы там заблудились! — она тряхнула мокрыми волосами. — Или испугались?

— Ещё чего! — фыркнул Михаил, но глаз от неё не отвёл. — Просто... осторожно шли. Осторожно? — Милена рассмеялась. — От тебя, кузнец, я другого ждала.

Драган переводил взгляд с одного на другого, потом махнул рукой: — Да мы просто в кузне задержались. Отец его все мозги проел своими наставлениями.

— А, ну конечно, — протянула Милена, отбрасывая прутик. — Послушный сын...

Она вдруг сорвалась с места, подбежала к самому краю водопада и обернулась — глаза горели, волосы разметались по ветру.

— Ну что, герои? Кто осмелится?

— Да ты с ума сошла! — Драган побледнел. — Там же глубоко!

Михаил, не говоря ни слова, стянул рубаху. Милена улыбнулась, глядя на него: — Вот это другое дело...

— Не надо, — процедил Драган. — Миш, она просто дурит нас.

Милена сделала шаг назад — пятки уже нависли над пропастью: — Боишься за него, Драган? Или ревнуешь? И, не дожидаясь ответа, она оттолкнулась и полетела вниз. Всплеск, и серебряные брызги взметнулись в воздух.

— Чёрт! — выдохнул Драган. — Миш, не...

Но Михаил уже прыгнул. Ледяная вода обожгла тело, на миг мир исчез, а потом он вынырнул, жадно хватая воздух. Рядом смеялась Милена, её волосы блестели в солнечных лучах.

— Ну что, кузнец, — она подплыла ближе, — не зря я тебя выбрала?

— А кто сказал, что выбрала? — Михаил улыбнулся, глядя в её глаза.

Сверху донёсся голос Драгана: — Ненормальные... — он помедлил, потом решительно выпрямился. — А, была не была! Если что — виноваты вы оба! Он разбежался и прыгнул, подняв такой фонтан брызг, что Милена и Михаил со смехом отплыли в стороны. Когда Драган вынырнул, его бледное лицо пылало.

— Ну что, герой? — поддразнила Милена. — Или всё ещё боишься?

— Заткнись, — буркнул он, но уже улыбался.

Милена отплыла чуть дальше, где вода падала особенно сильно, и стала подставлять лицо каплям, словно смеясь в лицо самому небу. Волосы прилипли к шее, блики солнца скользили по её коже. Она выглядела так, будто была рождена из этой воды — живая, свободная, неприкасаемая.

Михаил подплыл к ней и сказал что-то на ухо. Она расхохоталась — звонко, искренне, и, не раздумывая, плеснула в него обеими руками. Он нырнул и через секунду вынырнул сзади, обхватив её за талию. Отпусти! — вскрикнула она, но в её голосе не было страха — только игра. — Ну что ты, дурак!

Он не отпускал. Она ударила его ладонью по плечу, но и сама смеялась, замирая от того, как близко их лица. Драган смотрел, не двигаясь, как будто вода вокруг него остыла.

Милена вдруг резко вывернулась, но прежде, чем отплыть — на долю секунды задержалась, коснулась ладонью Михайловой щеки и что-то тихо прошептала. Он кивнул. Они оба смотрели друг на друга слишком долго.

— Ясно... — глухо сказал Драган и пошёл к берегу, не оборачиваясь.

Сквозь шум водопада он не слышал, звала ли его Милена. Да и не хотел слышать. Солнце клонилось к закату. Кузня уже не гремела, но внутри ещё держалось тепло. Михаил и Драган сидели на пороге. В руках у Драгана был нож. Рукоять его напоминала стройную девичью фигуру, а на клинке было выгравировано имя — Милена. Драган медленно водил пальцем по лезвию.

— Думаешь, можно срезать судьбу, как гнилую ветку? — тихо, задумчиво спросил он.

Михаил прищурился:

— Что?

Драган покрутил нож в руке, глядя в темноту.

— Представь, что жизнь — это дерево. Иногда ветки растут в неправильную сторону. И ты можешь их обрезать. Просто взять нож и... чик.

Михаил поморщился, откинул голову назад.

— Чего ты несёшь?

Драган продолжал смотреть на нож, улыбнулся, но в глазах его не было веселья.

— Просто думаю, — сказал он.

— Ты слишком много думаешь.

Драган ухмыльнулся:

— А ты — слишком мало.

Из темноты внезапно донёсся женский голос. Михаил вздрогнул.

— Мужчины, о чём шепчетесь? — раздалось из-за угла кузни, в голосе слышалась лёгкая насмешка.

На свет вышла высокая девушка с заплетёнными в косу волосами. Михаил напрягся, а Драган лишь ухмыльнулся, глядя на него. Милена подошла ближе, улыбнулась.

— Мы обсуждали, как обрезать судьбу, если она растёт не туда, — громко, беззаботно сказал Драган.

Милена наклонила голову.

— Вы двое либо пьяны, либо сошли с ума.

Она посмотрела прямо в глаза Михаилу. — Ты пойдёшь со мной к реке? — мягко, но с вызовом спросила Милена. Драган поднял брови, ухмыльнулся. Михаил перевёл взгляд на него, потом снова на неё, встал, отряхнул руки.

— Пойду, — сказал он.

Михаил поднялся, стряхнул пыль с ладоней, на мгновение задумался, будто взвешивая на весах не шаг, а судьбу. Потом повернулся к Драгану.

— Вернусь скоро, — спокойно, почти буднично сказал он, но взгляд задержался на лице друга чуть дольше, чем того требовало простое прощание.

Драган, не шевелясь, смотрел на нож.

— Конечно, — кивнул он и попытался улыбнуться. — Присмотри, чтоб она не утонула.

— Не беспокойся, — сказал Михаил и пошёл за Миленой, которая уже стояла немного в стороне, ждущая.

Они пошли. Неслышно, почти как призраки, сливаясь с осенней дымкой. Милена шла чуть впереди, по узкой тропке, проложенной вдоль старого плетня, за которым начинался склон к реке. Под ногами хрустели сухие ветки, в воздухе плавал запах опавшей листвы и чего-то недосказанного. Драган остался. Он не шелохнулся. Только проводил их взглядом, как охотник — зверя, уходящего из поля зрения. Лицо его застыло. Никаких слов, ни вздоха, ни движения. Только пальцы — они медленно, задумчиво крутили в руках нож. Он сидел на крыльце,

будто врос в старую доску. Свет изнутри падал на него полосой — расщеплённой тенью рамы. На скулах дрожал тёплый отблеск, а в глазах темнело. Улыбка появилась неожиданно. Медленная, как отзвуки воспоминания. Но в ней не было радости. Была напряжённость. И что-то ещё — нехорошее, глухое. Он сжал нож чуть крепче. Металл прохладой лёг на ладонь, будто напомнил — он тут, он всегда рядом. Он умеет ждать. Ночь сгущалась. А Драган всё сидел. И всё смотрел туда, где исчезли двое. Река шумела, разбиваясь о камни, унося в своей быстрой воде золотые листья, сорванные ветром. Михаил скинул камень в воду, наблюдая, как расходятся круги.

— Ну что, идём дальше? — Милена посмотрела на него хитро, едва заметно улыбаясь.

— Куда? — Михаил поднял брови.

В монастырь. Ты же знаешь, я там не была со школьных лет. Да и кто знает, вдруг святые нам скажут что-то важное?

— Святые? — Михаил усмехнулся. Милена подмигнула. — Сходим, послушаем истории.

Они пошли по узкой тропе, ведущей вверх, где монастырские стены уже проступали сквозь густые деревья. Михаил шёл молча, наслаждаясь ритмичным звуком шагов Милены рядом. Монастырь Святого Георгия стоял на вершине низкого холма, обдуваемого ветрами, чуть в стороне от главной дороги, ведущей из деревни. Сложенный из грубого серого камня, он казался частью самой земли, старым и неприступным, словно вечный свидетель людских страстей и грехов. Вековые стены с глубокими трещинами дышали историей, здесь можно было услышать шёпот времени: набег османов, молчаливые ночи под гул колокола, возвещающего о скорбных похоронах. За массивными дубовыми воротами, окованными железом, скрывался внутренний двор — строгий, почти пустынный. В центре его стоял древний колодец, над которым, склоняя худые руки, часто застывали монахи в своих чёрных одеждах. Здесь было прохладно даже в самое душное лето, и каждый шаг отдавался гулким эхом под сводами узких коридоров, ведущих в монастырские кельи. Церковь, возведённая ещё в XIV веке, поражала своими мрачными иконами, выцветшими фресками, на которых святые лики глядели из-под векового слоя копоти и воска. Узкие окна впускали в храм скудный свет, и даже днём в нём царил полумрак, пахнувший ладаном, влажным камнем и застарелым воском. Монахи жили здесь тихо, строго следуя уставу, но в их взглядах таилось нечто большее, чем смирение. Они знали, что деревня внизу — мир страстей, предательств, любви и ненависти. Они принимали грешников, но никогда не пытались вмешиваться в их судьбы. Монастырь был убежищем, но не судом. Михаил приходил сюда редко. Для него это место было слишком спокойным, слишком неподвижным, будто вырванным из иного времени. Но однажды он задержался здесь дольше обычного. В долгом разговоре с настоятелем он почувствовал, как стены монастыря не просто скрывают, но и оберегают. А когда на деревню опускался туман, именно здесь можно было найти единственное место, где не было страха.

— Знаешь, мне рассказывали, что монахи тут по ночам выходят на холм и поют, — Милена нарушила тишину.

— Ты слишком много слушаешь деревенских бабок. Они и про ведьм у водопада говорят.

— Ведьмы — это уже скучно, — она вздохнула. — Но вот монахи... Представь, выходят они под свет луны, в длинных рясах, поют... а потом идут варить самогон.

Михаил рассмеялся.

— Самогон они точно варят. А вот насчёт песен — не знаю.

Они подошли к монастырю. Тишина мягко обволакивала стены, лишь изредка прерываемая протяжным звоном колокола. За массивными воротами было пустынно, только один из монахов сидел у стены, подставляя лицо солнцу, словно черпая из него какое-то невидимое тепло.

— Ищите покаяния? — раздался голос из полутени.

Из двери, ведущей в храм, вышел настоятель, отец Симеон — высокий, худощавый, с ясными, умными глазами, глубоко посаженными под нависшими бровями. Он остановился, взгляделся в юношу.

— Михаил... Савич, если не ошибаюсь? Сын Стефана?

Михаил кивнул, сдержанно:

— Да, святой отец. Я... пришёл с ней.

Он бросил короткий взгляд в сторону Милены — она стояла чуть в стороне, полуобернувшись, и, казалось, ловила ветер, будто запахи осени могли поведать ей что-то важное.

— Пришёл... — протянул Симеон с едва заметной улыбкой.

Отец Симеон взгляделся в Михаила, потом перевёл взгляд на Милену и, прищурившись, сдержанно усмехнулся:

— Ну, ясно теперь, зачем пришёл... Всё кругами вокруг нее ходишь.

Милена повернулась, и в её взгляде сверкнула игривая искорка.

— Он всегда такой, — сказала она тихо, почти ласково. — Ходит за мной, как тень. А потом делает вид, что просто мимо шёл.

Михаил смутился, опустил глаза, но губы тронула невольная улыбка. Симеон посмотрел на обоих с лёгкой грустью и теплом, как смотрят на давний сон, вернувшийся вдруг из глубины памяти.

— В добрый вечер, дети. «Осень щедра на встречи», — сказал он, и, повернувшись, медленно пошёл вдоль стены, оставив их одних.

Милена стояла молча. Потом шагнула вперед и, не глядя на Михаила, тихо сказала:

— Отец! А давайте вы нас обвенчаете!

Она рассмеялась, всплеснув руками, как ребёнок, который только что придумал игру. Ветер тут же подхватил её волосы, разбросал их по плечам, будто сам удивился этой идее. Михаил застыл, не сразу поняв, шутит ли она. Она смотрела на него широко, открыто — как смотрят только в момент полной свободы. В ней было солнце, дождь, полевые цветы и капелька безумия.

— Ну, правда! Вы же могли бы? Почему нет?

Слово "отец" прозвучало нарочно, слегка вызывая, словно проверка — а дышит ли ещё его сердце, или он и впрямь всё отдал Богу и молчанию. Ветер подхватил её голос, унес к реке, к лесу, к ночи. А она всё смотрела на него, и в этом взгляде вдруг было больше серьёзности, чем в словах. Настоятель повернулся и внимательно посмотрел на неё, чуть приподняв бровь.

— Вот так, без приготовления?

— А что, в жизни хоть что-то бывает приготовленным? — рассмеялась она.

Михаил не отводил от неё взгляда, вслушиваясь в её голос, в лёгкость, с которой она произнесла эти слова.

— Ты не шутишь? — тихо спросил он.

— Шутила, а теперь и сама не знаю, — она на мгновение задумалась.

— Тогда пусть будет так, — Михаил вдруг сказал это просто, без тени сомнения.

Отец Симеон сложил руки перед грудью и покачал головой.

— Нет, дети мои, так не пойдёт. Благословение Божие — не просто дар, его нужно принять с должной серьёзностью. Перед венчанием должна быть помолвка. Михаил, ты должен попросить руки Милены у её отца. Таков порядок, и в нём есть мудрость.

Милена округлила глаза.

— Те, кто хочет не просто свадьбы, а брака, — спокойно ответил Симеон.

Она замолчала, слегка склонив голову. Михаил продолжал смотреть на неё — так, как, наверное, смотрел бы человек, стоящий перед дверью, за которой его судьба.

— Я попрошу, — наконец сказал он.

Но прежде, чем кто-то успел что-то сказать, Михаил сунул руку в карман, нащупал там гладкий, прохладный металл и, не раздумывая, достал кольцо. Он выковал его сам — простой, но крепкий обруч из светлого серебристого железа, с тонкой гравировкой по краям, напоминающей волны. Он встал на одно колено, поднял на Милену глаза, в которых было всё — любовь, уверенность, и та сила, что не требует лишних слов.

— Это не золото и не камни, — произнёс он негромко. — Но я сделал его своими руками. И если ты возьмёшь его, то будешь знать: оно такое же прочное, как я рядом с тобой.

Милена не смеялась. Она смотрела на него, едва дыша, и в глазах её было изумление — детское, чистое, будто перед ней разверзлась новая, ещё не познанная истина. Симеон наблюдал за ними молча, затем кивнул и сказал, голос его был тёплым, глубоким, полным той мудрости, что бывает у людей, много повидавших:

— Бери, девочка. Мужчина, что стоит перед тобой на коленях, — редкость в этом мире. А тот, что стоит так перед тобой без страха, с любовью — настоящее сокровище.

Милена осторожно взяла кольцо, провела по нему пальцем, словно проверяя, действительно ли оно настоящее, затем сжала в ладони.

— Завтра пойдёшь к моему отцу, — только и сказала она.

Михаил кивнул. Симеон улыбнулся.

— Теперь идите, дети мои. День клонится к вечеру, а путь ваш ещё не окончен.

Драгон стоял за грубым стволом старого вяза, притаившись в тени, как опытный охотник, выжидающий добычу. Он знал, что не должен был быть здесь, но не мог заставить себя уйти. Сердце его билось глухо и тяжело, как молот кузнеца, выбивающий узор на закалённом железе. Перед ним, на залитом мягким вечерним светом дворе монастыря, разворачивалась сцена, от которой внутри всё сжималось. Михаил стоял на одном колене, протягивая Милене кольцо — не какое-нибудь купленное у торговца безделицами, а выкованное собственными руками. Голос его звучал низко, но в каждом слове было что-то, что заставляло её затаить дыхание. **«Она даже не понимает, что теряет»**, — думал Драгон, крепко сжимая кулаки. Ведь это должна была быть его роль. Он любил Милену — дольше, чем Михаил, глубже, чем сам готов был признать. Сколько раз он видел её смеющейся, беспечной, как солнечный луч среди глухого леса! Сколько раз ловил её взгляд, полный доверия... но никогда — любви. Она никогда не смотрела на него так, как сейчас смотрела на Михаила. Боль обожгла его изнутри. Он был не из тех, кто сдаётся без боя. Ему не нужна была судьба тихого друга, вечного наблюдателя за чужим счастьем. Если Михаил исчезнет... если его устранить... Милена останется. И однажды поймёт, кто по-настоящему её достоин. **«Мужчина, что стоит перед тобой на коленях, — редкость в этом мире»**. Отец Симеон, произнёс эти слова — и в них было что-то, что только укрепило в сердце Драгона его страшное решение. Драгон усмехнулся про себя. **«Посмотрим, насколько он редкость, когда его не станет»**. Решение созрело в нём, как клинок, который долго держали в огне. Он не знал пока, каким будет его шаг, но знал одно: Михаилу не суждено вести Милену к алтарю.

МИЛЕНА

Дом Радована, отца Милены, стоял на холме, возвышаясь над деревней, как неприступная крепость. Не всякий путник осмеливался переступить его порог, ибо хозяин слыл человеком грозным, непреклонным, и держал всё в железной узде — домочадцев, крестьян, да и саму судьбу. Крыша крыта черепицей, окна узкие, с тяжёлыми ставнями, чтоб зимой тепло держалось, а летом прохлада не уходила. Половицы в сенях скрипят, но не от ветхости — просто хозяин считал, что дом должен предупреждать о приходе чужака. Внутри пахло добротным дубом, воском и свежим хлебом. В передней светёлке, отгороженной резными колонками, стоял длинный стол, на котором была снедь: белый хлеб, мясо в луковом соусе, вино в кувшинах. А над всем этим, будто царь на троне, восседал, Радован — широкоплечий, борода чёрная

с проседью, глаза холодные, пронзительные, как у степного волка. Говорил мало, но всякий знал: слово его — камень, коль упадет на шею — сломает, если ослушаешься.

Брат Милены, Богдан, был совсем иного толка. Высокий, жилистый, всегда напомаженный, с кольцом на мизинце, он любил показывать своё превосходство. Говорил много, смеялся звонко, но в глазах у него таилась колкость, от которой любой чувствовал себя облитым холодной водой. Михаил пришёл на следующий день вечером, после “обручения” в монастыре, когда солнце клонилось к закату и окна дома отражали последний свет, будто пылали изнутри. Он вошёл в дом неуверенно, но решительно, шаг тяжёлый, взгляд прямой. Одет был в простую рубаху, поношенные сапоги, кожаный ремень, прожжённый в двух местах от искр кузнечного горна. Радован сидел во главе стола, уперев локти в дубовую столешницу. Богдан развалился сбоку, вертя в руках серебряную пряжку.

— Ну? — коротко бросил Радован. Михаил вздохнул, собрал все силы и заговорил:

— Господин Радован, пришёл я к Вам с просьбой. Отдай за меня Милену.

В комнате воцарилась тишина. Богдан издал короткий смешок.

— Милену? За тебя? — он окинул Михаила взглядом, в котором не было и капли уважения. — Да на тебе одежда, как на нищем. Самому не стыдно?

Михаил сжал кулаки, но пока молчал. Радован посмотрел на него испытующе, будто взвешивая на торговых весах.

— Девку не отдам, — медленно произнёс он. — Не пара ты ей.

Богдан фыркнул, откинулся на спинку кресла и пнул сапогом ножку стола.

— Что, кузнец, нечего сказать? — он криво улыбнулся. — У нас тут своя жизнь, а ты с грязными руками лезешь. У тебя что есть, кроме молота да дыр в одежде?

Это было последнее, что Михаил мог стерпеть. В глазах потемнело, сердце ухнуло вниз, будто железо в воду. Он шагнул вперёд и толкнул Богдана в грудь.

Тот не ожидал, покачнулся, но быстро пришёл в себя.

— Ах ты... — прошипел он и кинулся на Михаила.

Завязалась драка. Стулья опрокинулись, половицы загремели. Михаил ударил Богдана в челюсть, но тот оказался проворнее, поднырнул, ударил в бок. Захватили друг друга, покатались по полу, сцепившись, будто два волка. Радован вскочил, схватил Михаила за шиворот и рывком выволок за порог.

— Уходи, кузнец, пока цел! — глухо бросил он. Дверь с грохотом захлопнулась.

Михаил стоял на крыльце, тяжело дыша, кулаки сжаты так, что побелели костяшки. Сердце грохотало не от страха — от ярости, боли и чего-то беспомощного, что жгло в груди. И вдруг — шаги. Лёгкие, торопливые. Он обернулся. Милена. Она выбежала за ним, как будто не решившись — как будто ноги не слушались, а душа рвалась. В глазах её сверкали слёзы, губы дрожали.

— Михаил... — прошептала она, и в этом голосе было всё: тревога, вина, надежда, любовь.

Он смотрел на неё, как утопающий на берег. Но взгляд её метался — между ним и дверью, за которой остался отец.

— Я... я поговорю с ним, — выдохнула она, торопливо. — Он вспыльчивый, но если объяснить... если я скажу, как всё... что я... (она запнулась, не договорив)

— Что ты? — спросил он тихо, сдержанно, почти грубо.

Милена опустила глаза, будто её слова могли выдать слишком многое.

— Я просто... я надеюсь, что всё можно изменить.

Михаил шагнул назад. В его лице было что-то непреклонное.

— Надеешься. А я пришёл за тобой. Не за обещаниями. Не за "может быть". Он выпрямился. — А, выходит, рано.

— Михаил, подожди... — она протянула к нему руку, не дотрагиваясь. — Я просто не хочу потерять вас обоих...

Он кивнул. Медленно.

— А тебе, похоже, всё равно кого потерять.

Он развернулся, шагнул прочь по скрипучим доскам.

Милена осталась на пороге. Вечерний ветер качал деревья, туман клубился над дорогой. Он не оборачивался. Милена осталась стоять на крыльце, сжав пальцы, будто пытаясь удержать ускользающее мгновение. Но Михаил уходил, и каждый его шаг звучал, как прибитый к земле гвоздь. Он брёл по узкой дороге, между домами. Сердце его колотилось, кулаки всё ещё сжимались сами собой. Богдан... Как же хотелось врезать ему сильнее, заткнуть его мерзкий смех, стереть ухмылку с его лица. Внезапно из тени, словно из самой земли, выросла фигура.

— Тяжёлый вечер, Михаил?

Драган, стоял, прислонившись к покосившемуся столбу, скрестив руки на груди. Глаза его блестели, как у кошки в ночи. Михаил остановился, вздёрнул голову.

— Мне не до разговоров.

— А я-то думаю, почему это мой друг идёт, как волк, потерявший стаю? — усмехнулся Драган, шагнув ближе. — Что случилось?

Михаил помолчал, но слова рвались наружу.

— Я ходил к Радовану. Просить Милену.

Драган чуть склонил голову, ухмылка исчезла.

— Ну?

— Он отказал. Богдан смеялся. — Михаил стиснул зубы. — Он издевался надо мной, плевал мне в лицо. Я... я был готов убить его.

Он сказал это глухо, но в голосе слышалась нешуточная ярость. Драган внимательно посмотрел на него.

— Но не убил.

— Нет.

— А Милена?

Михаил отвёл взгляд.

— Она сказала, что поговорит с отцом. Что попытается уговорить.

Драган медленно кивнул, на лице его появилась тень задумчивости.

— Значит, ещё не всё потеряно...

Михаил горько усмехнулся.

— Всё потеряно, Драган.

Тот только хмыкнул, но ничего не ответил. Они стояли в тумане, и в этой тишине что-то словно дрогнуло, изменилось.

— Что ты теперь будешь делать? — спросил Драган.

Михаил пожал плечами.

— Работать. Жить. Забудется.

— Ха, забудется... — Драган качнул головой, глядя в темноту. Он шагнул в сторону, оставляя Михаила одного, но в глазах его уже вспыхнул огонь. Утро в деревне выдалось тревожным. Ещё с рассвета по улицам ходили чужие люди – в серых мундирах, с оружием, в тяжёлых сапогах, отстукивающих по земле чужую, властную поступь. Они шли уверенно, как хозяева, не спрашивая, не оглядываясь, не таясь. Скоро раздались крики, стали слышны шум, беготня, стук ружейных прикладов о двери. Люди выбегали из домов, жались друг к другу, шептались. Женщины кутались в платки, крепче прижимали к себе детей, старики стояли у порогов, хмуро глядя исподлобья. И вот из большого, белёного дома Радована, словно заранее подготовленные, вышли несколько человек. Они шли нарочито спокойно, не торопясь, не пугаясь. Впереди шагал Радован – важный, надменный, с лоснящейся лысиной, в свежей, чистой

рубaxe. За ним Богдан – румяный, с самодовольной улыбкой. За ними ещё трое — мужики с торжествующими лицами, словно они не оккупантов встречали, а женились нынче утром. Они вынесли хлеб, поставили его на вышитое полотенце, держали высоко, с достоинством, как хоругвь. Один из усташей, молодой, русоволосый, с глазами блеклыми и колючими, лениво принял подношение, кивнул. Солнце поднялось выше, заиграло на металлических пряжках, на отполированных штыках. А уже к полудню над домом Радована взвился флаг — новый, яркий, пёстрый. Народ в деревне смотрел на него с разными лицами. Одни быстро прятали взгляды, уходили в дома, другие задерживались, замирали, будто запоминая этот день. Богдан к вечеру щеголял уже в новой форме. Ходил по улицам, выпрямившись, глядя свысока. Ткань мундира была ещё жестковатой, неразношенной, блестела на солнце. Он часто оглаживал её ладонью, поворачивался то боком, то спиной, поглядывал в отражения окон. Теперь он был кто-то, теперь ему не нужно было ждать благословения отца или одобрения сестры. А Михаил молотил железо с утра до вечера. Его кузня — низкая, закопчённая, пахнущая гарью и металлом — стала для него единственным местом, где не было ни флагов, ни мундира Богдана, ни чужих сапог. Здесь не было разговоров, не было взглядов. Только жар, только звон молота, только работа. Иногда в дверях появлялась Милена. Она стояла молча, прислонясь к косяку, глядя, как Михаил держит клещи, как направляет металл, как его лицо остаётся напряжённым, а губы — плотно сжатыми. Поначалу он не смотрел на неё, будто не замечал. Но однажды она принесла ему еду — просто поставила на деревянный столик, ничего не сказав. Он замер на миг, выпрямился, отложил инструмент, посмотрел на неё. Долго смотрел. Но ничего не сказал. И она тоже молчала. Так продолжалось несколько дней. Милена приходила, приносила еду, стояла в дверях. Михаил молотил железо, гнул его, бил, бросал в воду. Гул кузницы заглушал всё — и тревогу, и боль, и слова, которые ни один из них не мог произнести. А Драган куда-то исчез. В день прихода усташей он мелькнул на улице, быстрым шагом свернул за угол — и с тех пор его не было. Ни в доме, ни в лавке, ни в кузне. И никто не знал, куда он пропал. Через несколько дней после прихода усташей на деревню спустился туман. Он пришел внезапно, плотной белёсой пеленой затянув улицы, крыши, дворы. Он полз змеиными струями между домами, забирался в щели окон, обволакивал всё вокруг глухой, мертвой тишиной. Даже собаки не лаяли. Жители, и без того запуганные приходом усташей, заперлись в своих домах, задёрнули шторы, зашептались по углам. Те, кому приходилось выходить, двигались осторожно, приглушая шаги, словно боялись потревожить что-то, скрывающееся в молочной мгле. Усташа усилили патрули. Слышался глухой стук сапог по мокрой земле, резкие окрики, скрип открываемых дверей. Но они тоже шли медленнее обычного — туман путал очертания, делал фигуры неясными, словно тени. А потом туман стал рассеиваться. И именно тогда в поле зрения одного из патрулей появилось тело. Богдан лежал на боку раскинув руки, будто пытался что-то схватить перед смертью. Его глаза были широко открыты, полны застывшего ужаса, а на губах застыла неестественная гримаса — не то удивления, не то боли. Но самое страшное было другое. Из его лопатки торчал нож. Не просто нож — охотничий нож, тонкий, изящный, с рукоятью, вырезанной в виде стройной женской фигуры. Рукоять была гладкая, выточенная с любовью, а на клинке, чуть подернутом кровью, чётко проступала выгравированная надпись: **«Милена»**. Патрульные переглянулись. Один из них наклонился, аккуратно выдернул нож, осмотрел, вытер лезвие о край Богдановой рубахи.

— Чей? — хрипло спросил один из них.

— Выясним, — отозвался другой.

--- Пойдем Луке расскажем, надо найти родственников, он кажется из местных.

Когда весть о смерти Богдана достигла дома его родных, она не ворвалась внезапным порывом бури, но вползла в стены, как яд, растекаясь по углам, проникая в души, оставляя на губах привкус неотвратимого ужаса. Мать его, госпожа Елена, сидела у окна, медленно перебирая в руках ткань, будто всё ещё верила, что сын вот-вот войдёт, что всё это — страшный,

но скоротечный слух, который будет опровергнут. В комнате пахло ладаном и прошлогодними яблоками, аромат которых теперь казался приторным, едким.

— Это не может быть, — произнесла она, подняв пустой взгляд на родных. — Этого не может быть...

Соседи, пришедшие с печальными лицами, переговаривались шёпотом, но шёпот их был не тише удара молота в кузнице. В каждом слове звучал тайный ужас, в каждом взгляде — ожидание, как отреагирует отец. Радован неподвижно стоял посреди комнаты. Он не кричал, не разрывал одежды, но лицо его сделалось жёстче, чем камни старого моста, а пальцы судорожно сжимались, будто он душил невидимого врага.

— Кто? — только и сказал он, но в этом слове была вся сдерживаемая ярость человека, привыкшего распоряжаться судьбами.

— Говорят, Михаил, кузнец... — неуверенно пробормотал кто-то.

Радован медленно выдохнул. Он вспомнил этого паренька, вспомнил как приходил он сватать дочь, дрань беспорточная, как бросился на Богдана... И вот теперь... В этот миг дверь распахнулась и на пороге появилась Милена. Она шла медленно, словно пробираясь сквозь невидимое сопротивление. Лицо её было белее молока, губы пересохли, глаза широко раскрыты, но в них не было слёз.

— Это ложь, — прошептала она.

Радован, повернулся к ней, словно только сейчас заметил её присутствие.

— Милена...

— Это ложь, — повторила она, громче, срываясь на крик. — Михаил не мог этого сделать!

Её взгляд метался по лицам. Она искала в них сомнение, искала хоть тень веры в её слова — но не находила. В комнате повисло молчание. Только тяжелое дыхание Радована да тихий, сдавленный всхлип госпожи Елены нарушали тишину. Милена медленно покачала головой.

— Если вы ему не верите, если вы... — она судорожно перевела дыхание, словно задыхаясь от тяжести слов, — значит, вы не знали его.

Она повернулась и вышла.

Драган стоял на пороге, сложив руки за спиной, и его лицо выражало неподдельную скорбь.

— Милена, это страшное горе. — Он вздохнул, покачал головой. — Но ты ведь знаешь, что Михаил грозился убить Богдана после той драки...

Он говорил медленно, внушительно, смотря ей прямо в глаза. В голосе его звучала такая искренняя печаль, что Милена, захваченная горем, почти поверила.

— Нет... Нет, Михаил... Он не мог...

— Богдан унизил его перед всеми, — продолжал Драган, с тихой, уверенной убежденностью. — Михаил ушёл, но какие слова он сказал тогда? Что рано или поздно Богдан за это заплатит.

Милена молчала. В голове её шумело. Она помнила, как Михаил сжал кулаки, помнила, как он смотрел вслед Богдану, помнила, но не могла поверить, что...

— Ты знаешь, я не хочу ему зла, — Драган осторожно взял её за руку, — но ты же понимаешь: его будут искать. Лучше, если он сам придёт.

Он говорил с той проникновенной добротой, с каким старший брат мог бы наставлять младшего, сдерживая истинное намерение за мягкой улыбкой. Он не просил её выдать Михаила. Нет, Драган просто хотел, чтобы она сама поверила в его вину.

--- Уходи, ---сказала Милена, но в голосе ее уже зазвучали нотки сомнения.

Драган с любовью и скрытой радостью посмотрел на нее и скрылся так же неожиданно, как и появился

А вскоре он уже стоял в комендантском штабе перед Лукой.

— Убийца Богдана — Михаил, кузнец, — сказал он, опускаясь на край стола и ловко пряча довольство под маской усталости.

Лука медленно поднял глаза. Взгляд его был ленив, но изучающий.

— И откуда такая уверенность?

— Он грозил его убить. И, Лука... — Драган потянулся к столу, взял охотничий нож, что лежал перед командиром, повертел его в пальцах, словно сам решал, насколько острое лезвие, затем медленно положил обратно. — Этот нож... Это его нож, это он выгравировал Милена.

Лука помолчал, барабанил пальцами по столу.

— Где он сейчас?

Драган улыбнулся, чуть склонив голову набок.

— Это нам скажет Милена.

В этот миг он был абсолютно уверен в себе, в своей победе. Михаил исчезнет, Милена останется одна, а он будет рядом — утешать, поддерживать, ждать, пока в её сердце не останется и следа от прошлого. Он даже попросил Луку не убивать Михаила сразу.

— Пусть будет суд. Пусть все знают, что справедливость восторжествовала.

А в душе его жило сладостное предчувствие. Всё было разыграно верно. Всё шло к тому, что он хотел. Когда устали вошли в дом, Милена, сидевшая у тела брата, резко поднялась. В глазах её был страх, но куда больше — гнев.

— Чего вам здесь надо?!

Лука неспешно осмотрелся, словно подмечая детали: полированный стол, вышитые занавески, сдобные крендели на подносе. Дом был полон скорби, но вовсе не бедности.

— Где Михаил? — спросил он лениво, переводя взгляд на Милену.

— Не знаю, — отчеканила она.

— Милена, милая, — заговорил он мягко, — никто не говорит, что Михаил виновен. Но устали должны его допросить. Только это.

— Допросить?! — её голос сорвался. — После того, что они сделали с другими?!

— Если он не виновен, ему нечего бояться, — примирительно сказал Драган

— Ты... — Милена шагнула к нему, глядя в лицо с неприкрытым ужасом. — Ты предал его.

Драган опустил глаза, словно был задет её словами.

— Я пытаюсь помочь.

Милена задрожала от ярости.

Лука кивнул, затем бросил окурок на пол и раздавил его сапогом.

— Найдите кузнеца.

Михаил даже не сопротивлялся. Когда за ним пришли, он стоял в кузнице, как обычно, раздувал мехи. Лишь на секунду он замер, услышав приближающиеся шаги, а затем развернулся, медленно вытер сажу с рук.

— Михаил, — произнёс офицер. — Ты арестован.

— По какому праву? — голос кузнеца звучал ровно, но глаза его потемнели.

— Твой нож — спросил офицер показывая Михаилу клинок

— Мой — ответил Михаил.

Офицер шагнул вперёд, кивнул патрульным.

Жёсткие руки схватили Михаила, закрутили их за спину.

— Это ошибка! — раздался крик, полный боли.

Все обернулись. Милена стояла в дверях кузницы, бледная, с горящими глазами.

— Михаил не мог убить Богдана! Он... он...

— Тогда откуда его нож в теле твоего брата? — усмехнулся Драган, пристально глядя на неё. Милена качала головой, слёзы стекали по её щекам.

— Михаил, скажи им... скажи!

Но Михаил молчал. Его вывели из кузницы, повели по улице. Люди, услышав шум, выглядывали из окон, кто-то крестился, кто-то шептался. А вскоре тяжёлый, массивный дверной засов лязгнул, и Михаил оказался в темноте монастырского подвала. В подвале стоял терпкий запах сырости и угля. Каменные стены покрывал мох, и где-то в углу капала вода, звук её падения разносился глухим эхом. Единственное узкое окошко под самым потолком пропускало слабый, сероватый свет, да и тот вскоре угас, уступив место вечному сумраку. Михаил тяжело сел на каменный пол, опёрся о стену. Всё внутри сжималось в страшном, вязком молчании. *"Вот и всё,"* — промелькнуло у него в голове. Он представил Богдана, рухнувшего на землю с его ножом в груди. Тот самый нож, который он берег, стараясь выгравировать имя Милены так, чтобы оно сияло. О, если бы он мог предвидеть, что этот клинок станет орудием убийства! Он закрыл глаза. Боль была глухая, не кричащая, но точащая душу, как ржавчина железо. Его предали. Но кто? Драган? Драган всегда казался ему другом, верным, надёжным. Он приходил в кузницу, помогал, слушал его разговоры о Милене. Но если Драган знал, что Михаил и Богдан были врагами... если он хотел избавиться от него, чтобы приблизиться к ней... Михаил сжал кулаки. *"А если не Драган? Кто тогда?"* Или... Он резко открыл глаза. *"Лазар!"* Лазар, второй кузнец, с которым Михаил работал в мастерской. Старший, молчаливый, всегда с тенью зависти в глазах. Он часто жаловался, что молодого Михаила хвалят больше, что ему доверяют лучшие заказы. А главное... Лазар любил Милену. *"Это он?"* Михаил вдруг вспомнил, как несколько дней назад Лазар странно смотрел на него, когда в кузницу заходила Милена. Как он сжал челюсти, как что-то мрачно пробормотал, уходя. *"Если Лазар знал, где лежит этот нож... если он подбросил его..."* Мысли крутились в голове, как пламя в горне. Драган, Лазар... Или кто-то ещё? Капля воды упала на камень. *"Нет. Я не позволю им уничтожить меня. Если я буду ждать — меня убьют. Если я сдамся — меня сломают. Но если я поддамся отчаянию... тогда они уже победили."* Он глубоко вздохнул, разжал кулаки. Нужно думать. Нужно искать выход. Михаил поднял голову, вглядываясь в тусклый просвет, едва заметный сквозь угольную пыль, осевшую на всём, что его окружало. Тяжёлый воздух, глухая тишина. Он провёл ладонью по лицу, размазывая чёрную пыль по щекам, и стиснул зубы. Вперёд. Только вперёд. Он встал, ощупал руками каменную стену и наткнулся на стенку, сбитую из необтесанных досок. Михаил пошел вдоль стенки и дойдя до конца, понял, что это угольный ящик. Он влез внутрь, больно ударившись об острые края угольных камней. Невзирая на боль Михаил начал искать единственный путь к спасению — засыпной пандус, который спускался со стены. Угольная пыль и полная темнота не давали возможности сориентироваться, но спустя некоторое время Михаил наткнулся на каменный желоб, в конце которого пробивался слабый свет, свет свободы. Тёмная пасть, будто выдолбленная в самой плоти монастыря. Гладкий камень был холоден, но Михаил чувствовал — там, по ту сторону, воздух был чище, легче. Свобода? Или новая западня? Пальцы его дрожали, когда он начал расстёгивать рубашку. Ткань прилипла к телу, пропитавшись потом, но в этой щели любое лишнее движение могло стать роковым. Михаил отбросил одежду в сторону, остался в одной нательной рубашке, прижался к камню и потянулся вперёд. Сначала голова. Осторожно, медленно — лоб коснулся камня, скользнул дальше. Плечи. Он втянул воздух, втянул живот, напряг мышцы. Страшная мгновенная мысль: если застряну? Нет, об этом нельзя думать. Толчок — ещё толчок, и его грудь проскользнула сквозь каменный зев. Внезапно рука соскользнула, он ударился локтем о стену. Боль прострелила все тело, но Михаил даже не вскрикнул — лишь сжал губы. Дыши. Двигайся. Ноги ещё там, в пыли и темноте, но грудь уже в новом пространстве. Последний рывок, и он упал на холодный каменный пол. Несколько секунд лежал, тяжело дыша, ощущая, как воздух обжигает горло. Затем медленно поднял голову. Перед ним тянулся узкий проход, и где-то впереди он увидел светящийся витраж храма. Михаил стоял, тяжело дыша, прислонившись спиной к холодному камню. Тело дрожало от усталости, но пальцы всё ещё были крепко сжаты в кулаки. Он выбрался. Тёмные коридоры монастыря, сырость подземелий, гулкий шум шагов в пустоте

остались позади. Перед ним раскинулся храм. Свечи горели тускло, бросая длинные, подрагивающие тени на старинные фрески. Над притвором в полумраке висел образ Страшного Суда, испещрённый копотью времени. Лики святых смотрели строго, пронизательно, словно сквозь века знали, что произойдёт в эту ночь. Он шагнул вперёд, ноги гулко отозвались по каменному полу. В глубине алтаря мерцало пламя лампад, наполняя храм слабым янтарным светом. И вдруг...

— Михаил?

Голос раздался справа, из тени колонны. Тихий, словно ветер в предрассветной тьме. Михаил вздрогнул. Из полумрака вышел человек. Высокий, в чёрной рясе, с легкой проседью в длинной бороде. Глаза под сенью густых бровей горели беспокойным огнём, но голос оставался ровен.

— Что ты здесь делаешь?

Михаил смотрел на него, молчал, чувствуя, как сердце стучит в груди, как воздух сдавливает горло.

— Вы... вы знаете?

Отец Симеон кивнул.

— Здесь все знают. Он сделал шаг вперёд, заглянул ему в лицо — с той суровой, безжалостной добротой, которую знают только старые монахи.

— Усташи придут утром. Они прочешут монастырь.

— Я не убивал, — выдохнул Михаил.

Отец Симеон не ответил сразу.

— Это уже не важно, — сказал он наконец, тихо. — Важно, что ты ещё жив.

Михаил чувствовал, как дрожит внутри всё его существо. Гнев, страх, отчаяние — всё смешалось в нём, как крик в безмолвии.

— Значит, меня выдадут?

— Нет, я переправлю тебя. К партизанам.

В храме было холодно, но Михаилу вдруг стало жарко.

— Вы... Вы можете мне?

Отец Симеон вздохнул, как человек, принявший на себя чужой грех. Он посмотрел ввысь, на образ Богородицы, затерявшийся в полутьме.

— Здесь тебя не найдут. Отдохни. Завтра за тобой придут.

Утром пришли за Михаилом. Лука спустился в подвал монастыря первым. Смрад сырости, гнилого дерева и угля ударил в нос. Масляные светильники бросали на стены жёлтые, рваные тени, скользившие по камню, словно призрачные фигуры давно умерших узников.

— Михаил! — Лука шагнул вперёд, обводя взглядом пустые углы. — Выходи!

Ответа не было.

— Чёрт! — Он с силой ударил кулаком по угольному ящику

Позади заворчали усташи. Один из них ткнул штыком в соломенную подстилку на полу, но кроме пыли ничего не нашёл.

— Ушёл, командир.

Лука выругался, поднялся наверх и, едва выйдя в монастырский двор, рявкнул:

— Обыскать всё!

Гулко хлопали двери келий, послушники прижимались к стенам, молча следя за тем, как солдаты срыгают с полок книги, переворачивают кровати. В библиотеке усташи с хохотом разорвал пожелтевший лист фолианта.

— Думаешь, он в Библии спрятался?

Лука зло зыркнул на него, и тот осёкся. Но церковь осталась нетронутой. Лука только бросил туда взгляд, помедлил на пороге, но заходить не стал. Тьма внутри, тяжёлый запах

ладана, неподвижные святые лики вызывали в нём смутное, неприятное чувство, как если бы кто-то незримо следил за ним.

— Где он? — спросил он монахов.

Молчание.

— Где Михаил?!

Отец Симеон вышел вперёд.

— Лука, Михаила здесь нет, не оскверняй храм божий. Сын мой, лучше покайся в грехах?

Лука моргнул.

— Что?!

— Покайся. Пока не поздно.

Он смотрел прямо в глаза командира, и Лука едва не сказал что-то в ответ, но вдруг почувствовал, что слова вязнут в горле. Он сплюнул, резко отвернулся и крикнул:

— Уходим!

Удары сапог сотрясали деревянные стены кузни, когда пришли Лука с солдатами.

— Где он?!

Старый кузнец, Стефан, стоял, опершись о наковальню. Его пальцы были чёрными от угля, а глаза — чёрными от гнева.

— Нет его.

Лука шагнул ближе.

— Не верю.

Удар. Кулак Луки вошёл в живот Стефана. Тот пошатнулся, но выстоял.

— Говори!

— Ничего не скажу, пёс!

Второй удар — в лицо. Кровь брызнула на пол. Солдаты повалили старика, били сапогами.

— Лука, его к стене! Пусть вспомнит! Стефан поднял голову.

— Вы, шакалы... Он вас переживёт...

Лука достал пистолет.

— Нет, не переживёт.

Выстрел оглушил всех. Кузнец осел на землю, схватившись за грудь. Кровь растеклась по каменному полу, смешавшись с золой. За дверью раздался женский крик. В проёме стояла мать Михаила, сжимая в пальцах передник.

— Господи..., что же вы делаете...

Лука бросил на неё равнодушный взгляд и сказал:

— Сжечь всё.

И вышел. После похорон Богдана в доме стоял затхлый запах угля, вечерней сырости, чуть горьковатый дух свежего хлеба. Но в воздухе висело что-то ещё — что-то нервное, гнетущее, невыразимое словами, как перед грозой.

— Ты должна забыть его, — глухо, почти срываясь на шёпот, сказал Радован.

Милена сидела у окна, глядя на потемневший за день пейзаж, не шевелясь, не отвечая.

— Ты слышишь меня? — Радован шагнул ближе, тяжело дыша. — Забудь!

Она сжала пальцы в кулаки, как будто боялась, что они начнут дрожать.

— Михаил... Он не мог...

— Он мог! — Радован взорвался, рванул со стола глиняный кувшин, и тот, с глухим звоном, разбился о пол. — Ты не понимаешь, что говоришь! Он бежал, Милена! Бежал, как последний трус, как убийца! А ты... ты будешь всю жизнь с ним? Ждать его взглядов? Ждать, когда в один день он посмотрит на тебя так же, как, возможно, смотрел на Богдана перед ударом?

Он замолчал, судорожно переводя дыхание. Милена всё так же сидела, опустив голову, тёмные пряди волос падали на лицо. А потом раздался тихий голос:

— Неужели ты сомневаешься в нём?

Это был Драган. Он стоял в углу комнаты, скрестив руки на груди, спокойно, задумчиво глядя на неё.

— Нет... — прошептала Милена.

— Тогда почему ты молчишь?

Она подняла на него глаза, в них было что-то измученное, оборванное.

— Я... не знаю.

Драган подошёл ближе, сел рядом.

— Если бы он был невиновен, разве бежал бы? — мягко, почти ласково сказал он. — Разве не остался бы, не доказал бы свою правду? А теперь... теперь что?

Он слегка склонил голову, чуть тронул её ладонь своей.

— Ты не виновата в его ошибках.

Она с силой выдернула руку, встала.

— Оставь меня.

Драган не удерживал. Он только смотрел ей вслед. Ночью Милена не спала. Она смотрела в потолок, слышала, как во дворе воет собака, и думала, думала... А утром ушла к отцу Симеону.

— Ты уверена? — священник посмотрел на неё долгим взглядом.

Она молчала, потом протянула руку. В раскрытой ладони лежало кольцо.

— Я не хочу выбрасывать его, но и носить не могу.

Отец Симеон взял её руку в свою, мягко сомкнул пальцы.

— Я сохраню его для вас, дитя моё.

— Вы вернёте его мне, если... если я попрошу?

— Конечно.

Она кивнула, отвела взгляд, потом вдруг порывисто развернулась и ушла, ссутулившись, будто несла тяжесть. Священник посмотрел ей вслед, вздохнул и медленно пошел в библиотеку. Он достал с полки книгу, свою любимую, которой увлекался еще до семинарии, и положил кольцо внутрь. Это был томик Александра Дюма “Граф Монтекристо”.

МИЛАН

Родители приезжали редко. Осень, зима — раз в три месяца, а то и реже. Летом, когда дороги становились мягче, а в полях заканчивалась страда, могли навестить дважды. Чаще приезжала мать. Отец то хворал, то говорил, что в деревне и без него управиться некому. Мать привозила еду: круглые караваи с крепкой коркой, сушёные грибы, горстку орехов, иногда в холщовом мешочке — дюжину яблок, сморщенных, с тонким запахом осеннего сада. Милан ел мало, но брал всё, что она давала, не отказывался. Говорила только Анна. Он только слушал, кивая изредка, морща лоб, когда что-то удивляло, улыбаясь в редкие мгновения радости.

— Маринка, соседка наша, снова замуж собралась, — рассказывала она, растирая покрасневшие от холода пальцы. — Третий будет, веришь? А ведь клялась, что после второго в гроб ляжет, но не под венец. А тут гляди ж ты... Приезжий какой-то, сапожник. Ласковый, говорят. Может, на этот раз ей повезёт?

Милан качал головой.

— А Марьян, пастух, совсем старый стал, — продолжала мать. — Коров за реку гнать уже не может, ноги не держат. Сидит на лавке да ругается. «Эх, молодёжь! Ни коровы вам не слушаются, ни кнутом не махнёте как надо!» — передразнила она его голос, и глаза её на мгновение засветились лукавым весельем.

Милан улыбнулся уголком губ. Иногда приезжал и отец. Немногословный, усталый. Он не рассказывал деревенских сплетен, не любил пустой болтовни. В руках его всегда был посох — после ранения в войну без него он далеко не ходил. Сидел на жёстком монастырском стуле, молчал долго. Потом вдруг глухо говорил:

— В доме крыша течёт. Надо будет починить.

Милан кивал.

— А в поле мыши пошли, зерно жрут. Тебе бы там... пригодились твои руки.

Тут Милан опускал глаза. Пауза.

— Ладно, — вздыхал отец, поднимаясь. — Ты береги себя.

Но Милан чувствовал, что и в этих словах было больше заботы, чем в сотне маминых рассказов. Осень в тот год выдалась ранняя, дождливая. Сырость ползла по стенам, просачивалась в щели окон, туго набивалась в одежду. Вечерами, когда в монастыре зажигались свечи, в кельях пахло воском, старым деревом, немного дымом от чадающих лампад. Ветер нёсся по двору, гнал клочья мокрой листвы, бил в ставни, будто требовал впустить его внутрь. В келье было темно, только тонкая свеча дрожала в свете, отбрасывая длинные тени. Милан сидел, сторбившись, у стола. Его взгляд был устремлён в одну точку, но ничего перед собой он не видел. Днём приезжала мать. Привезла хлеб, немного сушёного мяса, перевязь орехов. Говорила о деревне — что у соседки Дарьи пропала корова, что на кладбище теперь новые кресты.

— Отец не смог приехать, — сказала она тихо. — В больнице он. Совсем плохо ему.

Милан смотрел на неё, не мигая. Теперь, в этой ночной тишине, её слова жгли ему грудь. Когда дверь кельи заскрипела, он даже не поднял головы. Отец Симеон вошёл медленно, перекрестился перед образом. Потом сел рядом.

— Милан... — голос его был мягок, но глух, как удары колокола в ненастье.

Милан посмотрел на него.

— Отец твой... умер.

Свеча треснула, будто не выдержала этих слов. Тишина, пронзительная, ледяная, пронеслась между ними. Милан не моргал. Только его пальцы медленно сжались в кулак. ...Но он же был сильный, упрямый, как вол... Разве может умереть такой? Он поднял руку, коротко показал жест — *когда?*

— Ночью.

Милан кивнул. Ни звука. Только медленно провёл ладонью по лицу.

«Один?» — жестом спросил он.

— Нет. Мать твоё была с ним.

Он снова кивнул. Долго сидел, глядя в темноту. Милан пытался нащупать в себе горе — но его не было. Вместо него поднималось что-то другое — тёмное, необъяснимое, давящее. Грусть? Да, была. Жалость? Да. Все-таки отец... Но вместе с этим было и облегчение. Тайна, висевшая над ним, затянувшая в петлю его язык, больше не существовала. Она умерла вместе с этим человеком. И теперь он снова мог дышать. Отец Симеон молчал. Он видел всё. Не спрашивал. Просто сидел рядом. Милан поднял глаза, встретил его взгляд полный понимания и сочувствия. Дорога в деревню была разбита дождями. Грязь тянулась за ногами, липла к сапогам, будто сама пыталась его задержать. Дом встретил его темнотой окон. Он толкнул дверь. Мать сидела у стола. Лицо её было пустым, точно высохший колодец. В пальцах она мяла край платка. Когда Милан вошёл, она подняла глаза.

— Милан...

Она открыла рот, но слов не нашлось. Тогда он шагнул вперёд. Медленно опустился перед ней на колени. Она вздрогнула, когда он коснулся её рук. Но не отдернула. Он сжал её пальцы в своих — крепко, сильно. Как когда-то сжимал его отец. И мать вдруг закрыла глаза. И заплакала. А Милан, не произнеся ни звука, прижал её ладонь к своему лицу. На кладбище пахло осенью — влажной, терпкой, медленно оседающей в складках одежды. Люди стояли плотным полукругом, кто-то украдкой утирал носами длинных платков красные от ветра лица, кто-то бормотал молитвы, переглядывался, кивал. В этом печальном сборище было что-то от привычного деревенского вечера — сплочённость, тихое уважение к смерти, жёсткая уверенность в том, что она приходит ко всем. Михаил лежал в гробу, и в этой неподвижности, в окончательной, бесспорной его неотвратимости было что-то ужасающее. Выступали бывшие партизаны — суровые, обветренные, с потемневшими щеками, с морщинами, прорезавшими лица, как топографические отметки битв. Говорили о мужестве, о долге, о том, что Михаил умер напрасно, но честно. А потом выступил Драган. Драган стоял у могилы, немного впереди, с выпрямленной спиной, как подобает руководителю, но в голосе его не было ни важности, ни нарочитой силы — только тёплая, едва сдерживаемая дрожь. — Мы с Михаилом знали друг друга с детства. Мы бегали босиком по этой земле, ловили головастика в речке, строили шалаши в орешнике. И каждый раз, когда кто-то из нас падал или сбивался с пути, Михаил первым подавал руку. Такой он был — прямой, как наковальня, и тёплый, как хлеб из печи. Он родился в семье кузнецов, и будто сам металл был в его крови. Не просто ремесло — дар, что передавался от деда к отцу, от отца к нему. И Михаил нес этот дар с гордостью. Работал без усталости, с огнём в сердце и тихим упрямством в глазах. Молот в его руке звучал, как музыка — крепко, верно, без фальши. Но, знаете... Он был не только руками сильный. У него было сердце, способное вместить больше, чем любое слово. Он не боялся говорить правду, не боялся стоять за друга. Мы мечтали когда-то построить кузницу на двоих — чтобы в одном углу молотил он, а в другом — я. Мечтали. И смеялись. Тогда, когда всё было просто. Он не гнался за почестями. Он просто жил, по совести. И каждый, кто знал Михаила, знал: на него можно опереться. Я потерял не просто друга. Я потерял часть себя. И пусть земля будет ему пухом. Пусть огонь его сердца не погаснет в нашей памяти. Он говорил, а Милану, стоявшую рядом, качало, как от слабости. Она слушала, не слыша, она смотрела, не видя. Анна плакала. Милан стоял рядом, сжав кулаки так, что костяшки побелились, как камушки, выточенные течением. Когда всё закончилось, люди начали расходиться, медленно, степенно. Только Милан не ушёл. Он стоял перед Миланой, глядя на неё глазами бездонными, тёмными, как сама земля, что только что приняла в себя тело Михаила. И протянул руку. На раскрытой ладони блестело кольцо. Милана посмотрела на него. Потом — на Милана. Потом снова на кольцо. И вдруг, пошатнувшись, сделала шаг назад, другой, опустилась на скрипучую, чуть влажную скамейку, и закрыла лицо. Тишина

вокруг сгустилась, стянулась в точку. И вдруг разверзлась. Милена завывала — пронзительно, страшно, так, как воют осенью потерявшиеся псы, уткнув морды в холодную землю. Кольцо, обжигая кожу, лежало на её ладони, и в этот миг весь мир сжался до одного имени, до одного голоса, которого больше не было. **Михаил.** Осенний лес задрожал в ответ на этот крик боли и отчаянья, это был тот же лес, где всё только начиналось. Тот же запах мокрой листвы. Те же деревья, согнувшиеся над тропой, будто свидетели чужих шагов. Только время было другое. И человек другой — моложе, но с тем же упрямым светом в глазах.

Глава

МИХАИЛ

Юрек шел впереди, осторожно ставя ноги на мягкую, пружинистую подстилку из опавших буковых листьев. Тропка петляла среди деревьев, исчезала под ветвями, появлялась вновь, словно сама природа прятала её от постороннего глаза. Влажный лесной воздух был пропитан терпким запахом хвои и гниющих коряг, где-то вдалеке одиноко прокричала сова, и снова все погрузилось в тишину, наполненную лишь звуком шагов.

— Осторожно, здесь скользко, — бросил Юрек через плечо, чуть обернувшись. Михаил кивнул, но ничего не ответил. Его одежда была вся в грязи, в волосах запутались листья, щеки ввалились от усталости. Еще вчера он был в темном монастырском подвале, а теперь брел вслеп за мальчишкой, уходя все дальше от прошлого, от себя самого. Они добрались до расщелины, заваленной колючим кустарником, Юрек ловко раздвинул ветки и, пригнувшись, нырнул в темноту. Михаил замер, задержал дыхание. Запах сырой земли, дыма и пряных трав ударил в лицо. Он шагнул вперед — и вдруг оказался в другом мире. Пространство расширилось, уходило вглубь каменными сводами, отовсюду сочились тонкие струйки воды, лениво стекая по закопчённым стенам. В нескольких местах тлели костры, у них, в теплом, пляшущем свете, сидели партизаны — молчаливые, бородатые, исхудавшие. Женщины, с закатанными до локтя рукавами, мешали что-то в тяжелом, черном казане, откуда шел густой запах варева, щекочущий ноздри.

— Опять привел кого-то? — буркнул один из мужчин, не поднимая головы.

Юрек пожал плечами.

— Человек свой.

— А у нас своих хватает.

Михаил промолчал. Он смотрел на людей вокруг, их утомленные лица, усталые, но цепкие взгляды. В дальнем углу кто-то сидел на грубо сколоченной из досок скамье и точил нож — осторожно, методично, длинными движениями, от себя. Женщина у котла обернулась. В её лице было что-то знакомое, что-то, что сразу бросалось в глаза — жесткая, тонкая линия губ, руки, крепкие, жилистые, привыкшие работать.

— Кушать хочешь? — спросила она, не улыбаясь.

Михаил чуть заметно кивнул.

— Подожди, скоро будет готово.

Юрек сел рядом с ним, протянул к огню руки, с наслаждением потянулся.

— Здесь хорошо, — сказал он тихо. — Сперва холодно, а потом привыкаешь.

Михаил снова ничего не ответил. Он чувствовал, как за ним наблюдают, как оценивают его, взвешивают. Эти люди знали цену словам, знали цену каждому новому лицу, и доверять здесь не спешили. Где-то над головой, в глубине пещеры, раздалось быстрое, сухое хлопанье — летучая мышь сорвалась с потолка, пронеслась в темноте и исчезла. Партизаны продолжали говорить, говорить медленно, вполголоса, словно в этих стенах даже воздух был пропитан опасностью.

— Лука опять кого-то повесил в деревне.

— Говорят, пятерых.

— Среди них был старик Павле...

— А может, и больше будет.

Михаил закрыл глаза. Он знал, что теперь пути назад уже нет. Женщина подошла к Михаилу спокойно, поставила перед ним миску с похлёбкой. Представилась.

— Я Анна, Анна Фишер, ешь, — сказала она. Голос у неё был низкий, хриловатый. — Тут не перебирают.

Михаил смотрел в одну точку, руки сжаты, взгляд стеклянный. Анна опустилась рядом, прищурилась. В отблесках огня её лицо казалось резче, губы чуть кривились в полуулыбке.

— Замёрз? Я принесу одежду, а эту постираю. Тут хоть и партизанщина, но в грязи не живём.

Он молча кивнул. Она встала, прошла в темноту, вернулась с узлом.

— Держи. Переоденься.

Михаил встал, неловко стал стаскивать с себя прилипшую и пропитавшуюся угольной пылью рубаху. Анна с едва скрытым любопытством смотрела на молодое и хорошо сложенное тело Михаила. Отблески пламени костра подчеркивали рельефность мышц молодого кузнеца. Анна взяла мокрую рубаху, встряхнула её, присвистнула. — Ну и видок. Тебя, кажется, по всей округе гнали. Она засмеялась, коротко, чуть хрипло, будто нечасто себе позволяла такое, затем резко встала и ушла, не оборачиваясь в глубь пещеры. Михаил стал жадно кушать горячую, обжигающую похлебку постукивая ложкой по металлической миске. Тепло растеклось по телу понемногу успокоив внутреннюю дрожь. Михаил стал искать глазами Анну чтобы поблагодарить, но вдруг наткнулся на знакомый взгляд. Он встал и подошел. У стены, вжавшись в нее сидел Лазарь, второй кузнец в кузне отца. Он громко и с хрипом стонал, голова была разбита, из губы сочилась кровь. По всему было видно, что он только что прибежал.

— Михаил, кузню твою сожгли. Сказал Лазарь задыхаясь

Михаил резко поднял голову.

— Что?!

— Лука с людьми своими. Ничего не оставили. Ни стен, ни крыши — одни угли.

Где-то внутри Михаила всё сжалось, холодной тяжестью навалилось на грудь.

— Отца твоего... Стефана... Лука застрелил. Прямо у кузни.

Михаил сжал зубы, пытаясь не закричать. Но вдруг плечи его вздрогнули, губы задрожали, и он закрыл лицо руками. Рывки тяжёлые, судорожные, болезненные — рыдания били его, выворачивали изнутри, заставляли дрожать всем телом. Подошла Анна. Стояла и смотрела молча. Потом сказала:

— Послушай. Поплачь немного, если нужно - это естественно. Но потом вытри слёзы и приготовься держаться. Здесь долго жалеть не будет. У меня вся семья погибла, осталась только я. Трудно, знаю. Но надо жить дальше.

Михаил молча кивнул. Он не заплакал. Но в груди что-то дрогнуло — не от слов, а от тона. В голосе девушки не было ни жалости, ни высокомерия. Только правда, от которой не отвернёшься. Они сидели у костра в каменной нише под уступом в форме голову орла. Ветра не было, и дым медленно рассеивался под звёздами. Анна грела руки у огня, молчала. Михаил молчал тоже, но не от усталости — внутри у него всё гудело, будто слова, давно спрятанные, теперь рвались наружу. — Я раньше умел смеяться. Голос Михаила был тихим, будто он боялся спугнуть что-то внутри себя. — Легко, по-настоящему. Просыпался с рассветом, знал, что день будет таким же простым, как работа в кузнице. Гудел молот, пахло железом и жаром, отец рядом... Анна взглянула на него вопросительно, но не перебила.

— Я был просто сыном кузнеца. Отец — Стефан Савич — строгий, но добрый. Мы работали вместе. У нас была своя кузня. Всё в жизни было понятно: железо гнётся от огня и силы, люди — от уважения и правды. Он замолчал, бросил в огонь сухую ветку. Та вспыхнула сразу, осветив его лицо: серьёзное, с какой-то усталостью, не свойственной его возрасту.

— А потом... А потом появилась она. — вдруг сказал он. — Милена.

Анна слегка склонила голову набок. Михаил продолжал, глядя на пламя:

— Я её любил, с детства, наверное. Она — как солнце. Гордая, смелая, не такая, как все. А я был просто парень из кузни. Но она всё равно смотрела на меня. Смеялась моим шуткам. Ходила за водой, если знал, что я там буду. Мы почти не говорили — и всё было ясно.

— А потом?

— Потом я пришёл просить её руки. К отцу, к Радовану. Он мне грубо отказал, а брат ее Богдан, посмеялся надо мной, назвал голодранцем, и мы подрались. А наутро его нашли мёртвым. Прямо в лесу. Его убили, и никто не знал как. Или... не хотел говорить. Но через день вся деревня смотрела на меня, как на прокажённого.

— И ты сбежал?

— Я сбежал. Не потому, что был виноват. А потому что понял — это конец. Они бы меня разорвали, даже если бы суд оправдал.

Анна молчала. Долго. А потом тихо сказала:

— Теперь я понимаю, откуда в тебе эта боль.

Михаил только кивнул. Он вдруг почувствовал, что ему стало легче. Будто нож вынули из старой раны. Лес вокруг, казалось, слушал их. Здесь не слышно было громов, не видно огней городов — только дыхание деревьев и тихий шелест ветра, похожий на вздохи тех, кто ушёл. Со следующего утра всё пошло иначе. Он начал вставать раньше, до рассвета, вместе с Анной. Они бежали вдоль хребта, по лесным склонам, скользили по узким тропам, где один неверный шаг мог стать последним. Анна показывала, как бесшумно двигаться по лесу, как слушать его, угадывать опасность по крику птицы, по резкому молчанию белки. Михаил слушал и запоминал. Лес был влажным, тёмным, пропитанным запахами хвои и мокрой земли. Михаил тяжело дышал, пригнувшись за стволом дерева. В руках — холодная рукоять ножа. Анна стояла напротив, её лицо было непроницаемо. Она не улыбалась и не подбадривала его, только кивнула:

— Попробуй ещё раз.

Михаил шагнул вперёд, взмахнул рукой, но Анна с лёгкостью ушла в сторону, толчком опрокинула его в мокрый мох.

— Ты мёртв, — сказала она. — Ещё раз.

Потом — стрельба. Старый «Маузер», тяжёлый, с потрёпанной деревянной рукоятью. Он промахивался сначала — снова и снова. А она не смеялась. Просто молча подавала патроны и снова ставила банку на пень.

— Ты научишься, — говорила. — У тебя хватит воли.

Так начиналась его новая жизнь. Не мщение, не ненависть. А — взросление. Боль в мышцах, хруст в костях, сорванные ладони. И взгляд Анны, который становился всё внимательнее. Они тренировались часами. Михаил чувствовал, как ноют мышцы, как пальцы с трудом сжимают рукоять ножа. Он бросал камни, представляя их гранатами, ползал по сырой земле, взбирался на деревья. Анна показывала, как закладывать мины, как разбирать и собирать автомат с завязанными глазами. Она не жалела его. Так шли их занятия. Дни тянулись через кровь и пот. Через полгода Михаил научился распознавать момент смерти в глазах противника, ощущать вес оружия в руке, вставать, когда силы уже давно оставили его. Он изучал анатомию человека по книге, которую принесли из сожжённой школы, — знал теперь, куда вонзить нож, чтобы человек не закричал. Партизанский лагерь жил по суровым, негласным законам войны — каждый день здесь начинался с приказов и заканчивался списками потерь. Кто-то уходил на разведку и не возвращался, кто-то ночами минировал дороги, кто-то под обстрелом таскал мешки с мукой из захваченного склада. Михаил быстро стал своим: ловкий, молчаливый, с твёрдым взглядом и руками, знающими работу. Он редко говорил, но всегда слушал. С Анной они были как тень и дыхание — неразлучны в бою, едины в молчании. Они выносили раненых, поджигали вражеские грузовики, ползли по сырой листве в ночи, не зная, доживут ли до утра. Но однажды случилось то, что изменило всё. И это уже была не просто война. Трава была высокой, влажной, пахла прелостью. Михаил лежал, чувствуя, как влага пробирается сквозь одежду, но не двигался. Юрек чуть дальше, вытянувшись на самой дороге, время от времени тихо всхлипывал. Он был мал, и его худые плечи вздрагивали в слабом предрассветном свете. Вдали показались повозки. Медленно катились по выбитой дороге, колесо в одной из них поскри-

пывало, лошади шагали лениво. Три телеги. В каждой – по два усташа, винтовки в телегах, рядом только пистолеты. Михаил видел всё ясно: неподвижные спины, руки на коленях, тусклый блеск оружия. Они устали, расслабились. Так проще. Юрек зашевелился, потом вскочил. Схватился за живот, застонал. Упал. Заплакал, скорчился. Телеги остановились. Один из усташей спрыгнул с первой повозки, подошёл, опустил на одно колено. В этот же миг Юрек резко дёрнулся. Блеснул клинок — тонкий, короткий, блестящий, как змея. Лезвие вошло в шею усташа, точно в ямку между ключицей и горлом. Он захрипел, схватился за рану, но кровь уже хлестала, тёмная, густая. Михаил уже двигался. Он выскочил из травы, метнул нож. Острый клинок вошёл в грудь второго солдата. Тот не успел даже вскрикнуть. Вторая повозка заходила ходуном — усташа рванулись к винтовкам, но Михаил уже был на них, тяжёлый кулак обрушился на голову одного, второй, отчаянно выкрикивая что-то по-хорватски, бросился в лес. Исчез между деревьев. Радован остался один. Он стиснул поводья, лицо его дёрнулось в судороге. Он медленно поднял глаза на Михаила. И узнал его. Узнал, несмотря на платок, закрывающий лицо, несмотря на тень, падавшую на скулы. Узнал и усмехнулся — грязной, искажённой усмешкой, словно от боли.

— Убей меня, убей! — выкрикнул он. — Всё равно тебе Милены не видать, голодранец! Она выходит замуж! Замуж, слышишь?!

Михаил занёс руку. В глазах Радована вспыхнула тень страха, но она тут же сменилась презрением. Михаил стиснул кулаки. Ему хотелось вонзить нож в это лицо, в эту надменную ухмылку, стереть её раз и навсегда. Но что-то остановило его. Вместо этого он схватил, Радована за ворот, рывком столкнул его с телеги. Тот ударился о землю, захрипел.

— Чтоб ты сдох, голодранец! — завопил он, лёжа в кустах. — Голодранцем был и голодранцем помрёшь!

Смех его был визгливым, диким, как у обезумевшего. Михаил быстро связал ему руки, затянул узел, бросил его в придорожную грязь. Затем запрыгнул на телегу, рванул поводья. Лошади вздрогнули, повлекли груз в сторону леса. Радован остался лежать на дороге, шипя проклятия, всё ещё смеясь — смехом человека, который потерял всё, кроме ненависти.

— Они тебя всё равно повесят!

Анна услышала скрип колёс ещё издали. Лошади двигались по утоптанной дороге, сминая траву, и шуршание её казалось насмешливым. Она выбежала на поляну, навстречу телеге. Михаил спрыгнул с телеги тяжело, чуть осев в коленях, словно нёс на себе невидимый груз. Он выпрямился медленно, но не спеша взглянуть Анне в глаза. Его лицо было жёстким, натянутым, как перетянутая тетива, готовая в любую секунду сорваться. Только глаза выдавали его — в них застыла сжатая, холодная боль, какая бывает у людей, потерявших что-то важное, но не смилившихся с этим. Анна внимательно смотрела на него. Лес вокруг затих, словно ждал.

— Ну? — коротко бросила она.

— Всё сделано, — ответил Михаил негромко, но его голос был глухим, как удар обухом. — Обоз взяли. Юрек... справился.

Анна едва заметно кивнула.

— Все?

— Двое мертвы. Двое ушли в лес.

Она медленно провела рукой по волосам, прищурилась.

— Ты не сказал главного.

Михаил молчал. Потом резко вскинул голову:

— Там был Радован.

Анна не вздрогнула, но напряглась, но её пальцы крепче сжались.

— Ты его убил?

— Нет.

— Почему?

Михаил отвёл взгляд, губы его дрогнули, но он сжал челюсти.

— Он сказал мне... — он говорил медленно, будто каждое слово было гвоздём, вбиваемым в его собственное сердце, — что Милена выходит замуж.

В воздухе повисло молчание.

— Я должен её увидеть, — сказал он так тихо, что его слова, казалось, исчезли в воздухе, не достигнув её.

Анна выпрямилась, сложила руки на груди.

— Безумие, — сказала она спокойно.

— Я должен, — повторил он упрямо, и в этом упрямстве слышалось отчаяние.

Анна шагнула ближе.

— А если она уже не та, кого ты помнишь? Если она тебя не ждёт?

Он замер, его лицо словно застыло, но потом в глазах вспыхнула резкая, жёсткая боль.

— Я всё равно должен.

Анна чуть склонила голову, разглядывая его.

— Ты хочешь убедиться, что она тебя предала? Или надеешься, что нет?

Он молчал.

Тогда она отвернулась, вскинув подбородок.

— Иди.

Михаил развернулся и пошёл, быстро, не оглядываясь. Анна смотрела ему вслед, а потом тихо, неслышно пошла за ним в тени деревьев. Михаил стоял у дома, где гуляла свадьба, спрятавшись за тёмным силуэтом старого вяза, и слушал. Издалека доносился шум — гул голосов, прерывистый смех, визгливые выкрики, пьяные песни. Всё это вздымалось в воздух, смешивалось с вечерней прохладой, с запахом прелого сена, с тусклым блеском редких звёзд, и Михаил чувствовал, как внутри него нарастает какое-то странное оцепенение. Он знал, чего ждёт. Ждал момента, ждал её. Дверь распахнулась с резким скрипом. Он весь сжался, прильнул к дереву, но взгляд его тут же метнулся вперёд. Она. Милена вышла на улицу, встала в проёме, чуть пошатываясь, словно колебалась, оставаться ли здесь или вернуться обратно. Он видел её лицо — при свете фонаря оно казалось ещё бледнее, но глаза... глаза всё те же, тёмные, внимательные, только будто чужие. Михаил не дышал. Она прислушалась к шуму деревни, к веселью за спиной, вздохнула, шагнула чуть дальше. И вдруг — посмотрела в его сторону. Он не отпрянул, не спрятался, не смог. Он застыл, как был, с широко раскрытыми глазами, судорожно цепляясь за этот миг. Он знал этот взгляд. В прошлом — в другом, далёком, безвозвратном времени — он видел его тысячу раз. В детстве, когда они смеялись, в юности, когда боялись признаться друг другу в чем-то неясном, неведомом. Этот взгляд был для него домом. И сейчас он ждал. Ждал в нём чего-то — крошечной вспышки узнавания, беспокойства, мельчайшего движения души, протянутой ниточки прошлого, за которую можно было бы ухватиться. Но взгляда хватило на мгновение. Она не дёрнулась, не выдохнула, не шагнула вперёд. Просто посмотрела. И отвернулась. Словно ничего не было. Словно он был пустым местом. Словно он уже умер для неё. **Что-то оборвалось.** Грудь Михаила сжалась так сильно, что он не сразу понял, что его сердце всё ещё бьётся. Это была боль — не та, что режет, а та, что раздавливает, обездвиживает, та, что уже ничего не исправит. Он отступил в тень. Развернулся. Ушёл. Анна стояла в стороне, полускрытая в темноте, и смотрела ему вслед. Она видела, как он исчез за деревьями, видела, как сутулилась его спина. Она знала — больше Михаил о Милене не заговорит. Она знала — что-то важное внутри него действительно умерло. И это знание придало ей сил и разбудило надежду.

АННА

Май 1941 года. Городок был разбужен пронзительными криками.

— Убили! Убили! Зарезали!

Звук этот, дикий, вырванный из самой глубины человеческого ужаса, расползлся по ещё сонным улицам, врвался в окна, заставляя людей просыпаться в страхе, вслушиваться. Первым прибежал сосед, сапожник, за ним пекарь, потом лавочник с женой. Прибегали православные, католики, евреи, мусульмане. Ещё недавно они жили бок о бок, мирно, спокойно, но с тех пор, как сюда пришли усташы, всё изменилось. Толпа сгрудилась в саду у мельника.

— Господи...

— Матерь Божья...

— Кто? Кто это сделал?

На земле, среди жёлтых яблок, опавших с дерева, лежали хозяин мельницы и его жена. Глаза у них были открыты, пустые, горло перерезано так глубоко, что виднелись белые позвонки. Кровь растеклась по земле, окрашивая зеленые яблоки. Кто-то молча перекрестился, кто-то отвёл взгляд. Дети спрятались за спинами взрослых.

— Это сербы! — закричал кто-то из толпы. — Они не хотят нашей свободы, они хотят нашей смерти!!!

— Нет! Это жиды! Они жаждут христианской крови! — заорал другой голос.

Мгновение — и толпа взревела. Мужчины бросались друг на друга, кулаки вздымались, кто-то схватил палку, кто-то достал нож. Женщины кричали, увлекая детей прочь. Разлетелся глиняный кувшин, кто-то споткнулся о тело мельника и упал, раздались истерические вопли.

— Остановитесь! — в ужасе закричал пожилой священник, но никто его не слушал. Приехала полиция. Грузовик усташей загрохотал по брусчатке, оттуда выскочили солдаты, размахивая прикладами.

— Всех к стене! — скомандовал офицер. — Быстро!

Человек сорок загнали в грузовики. Были среди них и православные, и несколько евреев, и два цыгана. Их повезли в сторону оврага. Женщины плакали, дети визжали. На лицах мужчин — тёмное молчание, взгляд в пустоту. Один мальчик прижался к отцу, отец накрыл его голову руками. На следующее утро городок проснулся в тишине. Овраг был засыпан землёй, кровавые яблоки убрали. Но через день начался погром. Врывались в еврейские дома, в дома православных, выбивали окна, тащили перины, посуду, книги. На улице валялся Талмуд с вырванными страницами, истоптанный сапогами. Кто-то срывал со стены старый православный календарь со всеми святками и именинами, кто-то грабил лавки. Женщина с ребёнком пыталась бежать, но её толкнули, вырвали ребёнка из рук. Мужчину в очках тянули по земле за бороду, его голова стучала по камням.

— Бей жигов! Бей сербов! — кричали люди.

И среди них были те, кто ещё вчера заходил в лавку, кто покупал хлеб у пекаря, кто кивал соседу на улице. Но теперь этого соседа не было, и уже никто не вспомнит, был ли он добрым человеком, хорошим мастером, любил ли он своих детей. Теперь он был просто мёртвый, просто забытый. Анна с утра бегала по городку в поисках своего мужа Йосефа. Вчера он ушел на работу в школу и не вернулся домой ночевать. Она была в школе, но там не было никого из учителей и учеников, во дворе стояло несколько грузовиков, рядом с которыми стояли солдаты. Она бросилась к родителям мужа, но квартира оказалась открыта, внутри валялись разбросанные вещи, опрокинутая мебель, а стены измазаны ослиным дерьмом. На двери желтой краской была нарисована шестиконечная звезда. Анна помчалась к своим родителям и застала ту же картину. Выходя, она увидела, как из дома напротив группа вооруженных мужчин выводят семью адвоката Раппопорта. Его, жену и трех дочерей. Их поставили лицом к стене, и офицер

уставшей приказал стрелять. Прозвучал выстрел. Анна в испуге закричала, офицер оглянулся, это лицо она запомнила на всю жизнь.

----Держи жидовку, - закричал офицер, и вся группа побежала в ее сторону. Анна на мгновение увидела обезображенные злобой и азартом лица мужчин и в тот же миг она бросилась обратно в дом, закрыла дверь, придвинула комод, открыла окно, сама же прыгнула в подпол и нырнула в отсек с картошкой. Наверху послышались выстрелы, потом скрежет отодвигаемого комода, топот сапог, ругань солдат, хруст разбитого оконного стекла. А затем наступила тишина, которая длилась долго, очень долго, вечность. Анна не знала, который час. Пустоты между картофелями давали возможность дышать, но их круглые бока сильно впились в тело, причиняя невыносимую боль, ноги онемели. Когда измученное тело победило рассудок, Анна выбралась из подполья. На улице была ночь, слышались отдаленные выстрелы, пьяный гогот и женские крики. Анна выпрыгнула из окна в сад и прячась между деревьев пошла в сторону леса. Она бежала по кромке, пригибаясь к земле всякий раз, когда ветер шевелил ветви деревьев — ей казалось, будто кто-то крадётся следом. Лёгкая блузка не спасала от холода, но она не чувствовала ни ветра, ни боли в ногах — только леденящий страх, знакомый с детства, тот, что парализует дыхание и сжимает сердце. За спиной — дымящийся город, где звуки выстрелов уже слились с эхом в её ушах. Она бежала оттуда, спасая себя, спасая то, что осталось от неё. Каждый куст казался засадой, каждый стон ветра — криком: «Лови жидовку!» И она всё слышала снова: пламя, крики, шаги погоня... И вдруг — голоса. Мужские. Близо. Анна инстинктивно бросилась в сторону, вжалась в землю за старым пенем, закрылась руками. Сердце стучало так громко, что, казалось, его услышат.

— Тише, — сказал один из них

Она замерла. Знакомый тембр. Тёплый, глуховатый. Она осторожно выглянула из-за укрытия. Между деревьями двигались несколько силуэтов.

— Здесь кто-то есть, я чувствую, — снова голос. Она замерла, вглядываясь в нарастающий сумрак, и в тот миг, когда один из мужчин шагнул ближе, она смогла вздохнуть. Она узнала.

— Душан? — еле слышно, прошептала она срывающимся шёпотом.

Он резко обернулся. Замер. И в следующую секунду шагнул к ней.

— Анна?.. — недоверие, надежда, боль в одном слове.

Они стояли, не в силах двинуться. И вдруг — будто что-то внутри обрушилось, и Душан рванулся вперёд, обнял её, крепко. Анна вжалась в его грудь, не плакала — только дрожала, чувствуя, как сходит прочь камень за камнем: страх, ужас, одиночество.

— Ты жива... Господи... — прошептал он.

— Ты не видел Йосефа, он исчез еще вчера. Душан ответил не сразу.

— Его убили, ---- сказал он, проглотив огромный комок печали. Анна остолбенела, потом села в траву, обхватила руками затылок и тихо завывала. Душан снял пиджак и накрыл им Анну.

— Многих евреев убили, остальных собрали в школе, погрузили в грузовики и увезли, — сказал Душан.

— То же самое сделали и с сербами, только убивали их страшно очень, лопатами и ломами. Не щадили никого, убили всю мою семью и семьи этих детей. Взбесившиеся собаки. Душан заплакал, дети тоже зашмыгали носами.

— Пойдем с нами, будем пробираться в горы, пока не встретим партизан. Он обнял Анну за плечи и помог ей встать на ноги.

— А что с моими родителями и с родителями Йосефа, --- опомнилась Анна

— Не знаю, ---ответил Душан. ---Скорее всего их увезли в место сбора всех евреев. А где это я не знаю.

Оглянувшись на городок, озарённый тревожным заревом пожара, они на мгновение замерли, будто прощаясь с чем-то важным — с тенью надежды, с иллюзией покоя, с местом,

где ещё недавно пульсировала жизнь. Над крышами поднимались клубы дыма, в небе отражались всполохи огня, и в этом багровом свете всё казалось нереальным — как сон, из которого невозможно проснуться. Затем, не обмениваясь словами, скованные общей тревогой, они двинулись вперёд, в темноту, к неведомому, ведомые лишь тягой идти дальше.

МИЛЕНА

После бегства Михаила Драган стал частым гостем в доме Радована. Он не стучался, не спрашивал разрешения, не приглашал себя — просто стал частью обстановки, как тяжелый дубовый стол, как кресло у очага. Радован привычно бросал ему:

— Поешь с нами, Драган.

Он ел медленно, сдержанно, но с аппетитом. Помогал по хозяйству, обсуждал с Радованом дела, а по вечерам приходил Лука. В такие вечера они уходили втроем в дальнюю комнату, за плотную занавесь, и там, в полумраке, у тяжёлого дубового стола, говорили о будущем страны. В этих беседах каждый видел себя на вершине, каждый мысленно уже ощущал тяжесть власти. Милена привыкла к его присутствию так же, как привыкают к часам, которые идут на стене. Сначала это раздражает, потом перестаёшь слышать, потом уже, кажется, что без этого тикания комната пуста. Милена, — голос Радована, прозвучал мягко, но в нём таилась сталь. Он смотрел на неё пристально, будто пытался заглянуть под кожу, в самую глубину мыслей. — Ты должна быть с ним нежнее. Ты же видишь — он смотрит на тебя так, будто мир исчезает. Мужчина, который по-настоящему хочет женщину, готов положить к её ногам всё. Милена молчала, будто не слышала. Глаза её упёрлись в узор на скатерти, пальцы невольно теребили край.

— Ты хочешь жить как крестьянская дочь? — голос отца стал жёстче, резал, как нож. — В нищете, без будущего? Ты знаешь, кем он станет. И значит — знаешь, кем станешь ты.

Она чувствовала, как внутри поднимается что-то тёплое и горькое одновременно. Необъяснимая жалость. И злость. И... что-то ещё. Она не хотела этого слушать — но слова вонзались, будто отец не просто говорил, а вбивал их молотом. Она вспомнила: Драган, склонившись над столом, рассказывал что-то вполголоса, глядя в сторону, будто боялся спугнуть её взглядом. А она, сама того не замечая, вдруг улыбнулась. Просто — уловив в его голосе искру, живую, как пламя. Просто — потому что в этот миг он был настоящим.

— Он не твой выбор, — прошептал, Радован, уже почти нежно, но в этом шепоте было больше давления, чем в крике. — Он твоя судьба. Прими её достойно.

Милена медленно подняла глаза. И впервые посмотрела отцу прямо в лицо. Там, за его суровыми чертами, она вдруг увидела тревогу. И страх. И любовь — такую, какую отец может чувствовать к дочери, когда отпускает её не к тому, кого сам бы выбрал. Они сидели на лавке у старой каменной стены, за которой шептали листья виноградной лозы. Вечер медленно опускался, и с ним — тишина, наполненная звуками: стрекот цикад, скрип колодца, далёкий лай.

— Милена, — сказал Драган негромко. — Ты сегодня почти не говоришь.

Она не ответила сразу. Лицо её было обращено к горизонту, где последние полосы света ложились на горы. Тень от её ресниц дрожала.

— Просто думаю, — сказала она наконец. — О многом.

Он кивнул, не настаивал. В этом молчании между ними было что-то родное. Он не пытался её завоевать, не бросался словами. Просто был рядом. Как земля под ногами.

— Ты знаешь, что отец хочет... — она замялась, слова вязли в горле. — Чтобы я... принимала тебя теплее.

Он чуть усмехнулся. Без злости.

— Радовану всегда хотелось всё расставить по полкам. Даже чувства.

— А у тебя они есть? — резко спросила она. — Чувства ко мне?

Он повернулся к ней. Долго смотрел. Глаза у него были ясные, серо-зелёные, как озеро, в котором отражается небо перед дождём. Я не умею красиво говорить, Милена, — тихо сказал он. — Но, когда я думаю о тебе, мне становится... легче. Теплее. Как будто я знаю, зачем всё это. Работать, ждать, бороться. Она замолчала. В груди что-то кольнуло. Это не были признания, не были стихи. Но они были правдой.

— А ты знаешь, — сказала она почти шёпотом, — я вчера впервые улыбнулась, слушая, как ты рассказываешь о том, как баран убежал у дяди Златко. Я даже не заметила, как это случилось. Просто... стало смешно. И хорошо.

Драган ничего не сказал. Только медленно протянул руку и коснулся её ладони. Осторожно, как касаются свечи, чтобы не погасла. Она не убрала руки. И тогда он понял, что в этой тишине уже есть ответ. Грусть Милены медленно растворялась в днях, наполненных тягучей рутинной. Сначала она просто выходила на крыльцо, смотрела в пустоту, потом начинала прогуливаться вдоль забора, а потом, однажды, согласилась пройти с Драганом по тропинке, ведущей к реке. Он был нежен, говорил мягко, глядя в её лицо с ласковой задумчивостью. Приносил цветы, дарил подарки — серьги, расшитые платки, броши, книги. Милена принимала их с робкой благодарностью, не спрашивая о происхождении, но в глубине души ощущая какую-то неясную, неприятную тень. Драган ухаживал за ней с точным расчетом человека, привыкшего добиваться своего. Он не говорил о любви, не задавал вопросов, не торопил. А в деревне тем временем тревога становилась обыденностью. Обыски следовали за обысками, аресты — за арестами. Иногда на рассвете, когда туман еще стелился по земле, звучал сухой, как сломанная ветка, выстрел, и люди на мгновение замирали, понимая, что кто-то уже не увидит солнца. За сотрудничество с партизанами казнили без долгих разбирательств, и это, как ветер, проносилось по деревне — страшное, неизбежное, но странно привычное. Когда деревня заговорила о свадьбе, он улыбался — не с радостью, а с уверенностью человека, знающего, что он победил. А потом пришли партизаны. Выстрелы, крики, запертые двери, окна, затянутые в ночь. Когда всё стихло, Драгана уже не было. Он исчез так же внезапно, как появился. Милена молчала. Она сидела у окна, глядя на его кресло, в котором больше никто не сидел. И в этой пустоте, оставшейся после него, было что-то, что она никак не могла понять. Дом опустел. Казалось, стены пропитались этим новым, чужим для неё воздухом. После того как Богдана убили — мать слегла. Сначала она просто перестала вставать с постели, потом почти не говорила. Лежала, отвернувшись к стене, с пустым взглядом, медленно угасая. Милена носила ей воду, кормила её ложкой, вытирала влажное от пота лицо. Надо жить, мама, — говорила она.

— Зачем? — отвечала та глухим, чужим голосом.

Она угасала не месяцами, а неделями. Как осенний лист, что уже не держится за ветку. Как пламя, которому не хватило масла. Когда её хоронили, отец не сказал ни слова. Только стоял у могилы, сжимая губы в тонкую полоску. После этого он изменился окончательно. Радован теперь редко возвращался домой. Если и появлялся, то ненадолго, уставший, раздражённый, в чём-то запачканный — то ли в грязи, то ли в крови. "Зачем я здесь?" — думала Милена. Раньше всё было просто. Она думала, что выйдет замуж, будет вести хозяйство, рожать детей. Теперь будущее обрушилось, как мост, подожжённый с обеих сторон. Она пыталась найти себе занятие. Пекла хлеб, убирала в доме, вышивала. Но всё это было лишь механикой, пустой рутинной. Иногда она думала — а что, если пойти в лес? Найти Михаила? Или тех, кто с ним? Но что она сможет сделать? Её не примут, её там не ждут. Радован больше не был просто крестьянином. Теперь он носил дорогие, чистые рубашки, пах дорогим табаком. В доме появлялись новые вещи: импортный кофе, шерстяные одеяла, редкие фрукты. Она не спрашивала, откуда всё это. Знала. Сначала он просто наладил контакт с усташами. Подчинился, как подчинились многие. Затем начал помогать: снабжал продовольствием, сдавал тех, кто, по его мнению, был связан с партизанами. "Если мы будем с ними, нам нечего бояться", — говорил он. А потом перешёл к другому. Теперь он руководил распределением конфиско-

ванного имущества. Когда кого-то арестовывали или убивали, его дом, его земля, его запасы еды переходили в новые руки. И Радован был тем, кто решал, в какие именно. "Так нужно, — говорил он ей, не глядя в глаза. — Или ты хочешь, чтобы нас самих вышвырнули на улицу?" Но Милена знала, что его движет не страх. Радовану нравилась власть. Однажды она увидела его с двумя усташами. Один был высоким, смуглым, с пронзительными, как у ворона, глазами. Второй — коренастый, в кожаных перчатках. Они стояли у ворот и смеялись. В какой-то момент второй достал из кармана часы.

— Хорошие? — спросил он.

Радован кивнул.

— Откуда?

— Снял с одного еврея, перед тем как его... ну, ты понимаешь.

Они снова рассмеялись. Милена смотрела на отца. Хотела что-то сказать. Что? Что он стал чудовищем? Что это не его путь? Что её мать, будь она жива, бы его прокляла? Но он только скользнул по ней взглядом, холодным, как лёд. **"Уйти? Но куда?"** Она чувствовала, что время сжимается. Скоро что-то случится. Она не знала, что именно, но внутри уже зарождалась буря. Она просто ещё не знала, в какую сторону она её понесёт. Однажды за ужином Радован сказал:

— Ты должна понять, — времена меняются. Мы должны быть с теми, кто сильнее.

— А как же наши соседи? Те, кого мы знали всю жизнь?

Радован резко отодвинул тарелку:

— Хватит! Ты уже не ребёнок, Милена. Пора понять — в этом мире выживает тот, кто умеет выбрать правильную сторону.

Она промолчала, чувствуя, как между ними растёт пропасть, холодная и непреодолимая. Анте Рогич появился в их доме весенним вечером. Высокий, подтянутый, с холёным лицом и цепким взглядом. Он держался безупречно вежливо, но что-то хищное проскальзывало в его движениях.

— Ваша дочь прекрасна, — сказал он Радовану, пока Милена разливала вино. — Такая красота достойна лучшего.

Позже отец зашёл к ней в комнату: — Это достойный человек, Милена. Офицер. У него большое будущее.

— Я его не люблю, — тихо ответила она.

— Любовь? — Радован горько усмехнулся. — Любовь не накормит тебя и не защитит. Посмотри вокруг — мир рушится. А он сможет дать тебе безопасность.

— Как матери? — слова вырвались прежде, чем она успела их остановить.

Пощёчина обожгла щёку. — Никогда... — процедил отец. — Никогда не смей говорить о ней. Венчание превратилось в бесконечный кошмар. Милена стояла у алтаря, чувствуя, как немеют ноги. Свечиплыли перед глазами, ладан душил. Тяжелая рука Анте лежала на её плече — даже здесь, в церкви, он словно метил её как свою собственность. Взгляды соседок жгли спину. Их шёпот проникал под кожу: — Говорят, мать её прокляла этот брак перед смертью... — Да разве ж теперь откажешься? Времена такие...

— А жених-то — зверь в овечьей шкуре...

Священник, бледный, с поджатыми губами, смотрел на неё почти с жалостью: — Согласна ли ты... Молчание затянулось. Пальцы Анте впились в локоть, и Милена почувствовала, как внутри что-то надламывается. — Да, — её голос прозвучал чужим. Дом, в котором справляли свадьбу, был странной мешаниной старого и нового. Здесь ещё дышало прошлое — в скрипе половиц, в тяжелых дубовых дверях, в узорчатых вышитых скатертях, что прежняя хозяйка, вероятно, когда-то гладила рукой. Но прошлое неумолимо вытеснялось новым: из комнат исчезли старые иконы, а на их месте появились католические кресты, в серванте стояла дорогая посуда, наверняка привезённая из разграбленного дома. В углу, за сундуком,

валялась детская игрушка — забытая, никому не нужная. В доме было полно людей. Смех, гомон голосов, звон бокалов. Чувствовалось, что большинство гостей знали друг друга давно, их объединяла не дружба, но что-то большее — общий страх, общее прошлое, общее будущее, сплетённое из выгоды и крови. Милена сидела у стены, и в этом празднике жизни ей не находилось места. Её поздравляли, ей улыбались, кто-то даже касался её руки, но всё это было мимо неё, не для неё. Женщина в белом платье, но без радости, без трепета, без надежды. Анте — её муж — смеялся громче всех. Он сидел во главе стола, пил, запрокидывая голову, хлопал по плечу соседей, иногда оборачивался к ней и бросал какой-то весёлый, довольный взгляд, точно удостовераясь, что она всё ещё здесь. Её отец, Радован, пил много. Слишком много. Он был в ударе: размахивал руками, горячо говорил, потом вдруг пускался в пляс, хватал за талию какую-нибудь молоденькую девку, кружил её в танце, смеялся — смехом, в котором звенело что-то странное, будто скрытое за этой весёлостью. Милена встала. Её никто не удержал, никто даже не заметил. Она прошла по комнате, не замечая взглядов, и вышла во двор. Случайно взглянув в сторону, она увидела его. Михаил. Он стоял в темноте, за деревьями. Долгое мгновение она смотрела на него, и он смотрел на неё. Точно два мира, когда-то близкие, вдруг снова столкнулись, но уже не могли соединиться. Она не помнит, кто первый отвёл взгляд. Но когда она подняла глаза вновь, его уже не было. Где-то в доме грянуло громкое "Живели!" Радован снова захохотал, а музыка, казалось, заглушила даже тишину ночи. Когда последние гости разошлись, Анте запер дверь и повернулся к ней. Его глаза были холодны, как лёд: — Ты теперь моя жена. Моя собственность. Запомни это. В спальне он не стал зажигать свет. Его движения были чётки и размеренны, как на военном параде. Срывая с неё платье, он словно срывал кожу — слой за слоем, обнажая незащищённость.

— Не плачь, — его голос звучал почти ласково, но пальцы сжимались всё сильнее. — Со временем ты научишься быть благодарной.

Милена закрыла глаза. Перед внутренним взором проплывали образы: водопад, смех Михаила, тёплые летние дни... Анте словно читал её мысли: — Забудь всё, что было. Теперь есть только я. Его поцелуи были как укусы. Он брал её торопливо, грубо, не заботясь о её боли. А после лежал рядом, поглаживая её плечо, и что-то говорил о долге жены, о послушании, о новой жизни. Милена не слушала. Она смотрела в окно, где над крышами плыла равнодушная луна, и понимала — это только начало. Её тюрьма будет не из камня и железа, а из его властной любви, из его жестокой заботы, из его слепой уверенности в своём праве владеть ею. Утром она с трудом встала. Тело болело, на коже проступали синяки — следы его "любви". Анте уже ушёл, оставив на столе записку: "Вечером жду ужин. Будь готова". Она долго стояла у зеркала, глядя на своё отражение. В глазах застыл страх, но где-то глубже, почти незаметно, тлела искра — не покорности, а выживания. Она справится. Она научится жить в этой клетке. У неё нет выбора.

ДРАГАН

Деревня спала, укрытая густой, неподвижной тьмой, как будто война не касалась её, не выжигала людские судьбы, не сотрясала землю глухими раскатами далёких взрывов. Однако Драган знал — ему здесь больше не место. Партизаны приходили днём. Искали. Смотрели в глаза. Молчали. Он чувствовал, как земля под ногами становится зыбкой. Не по-человечески тихо стало в доме. Даже мать не спросила, куда он идёт. Только вытерла руки о передник и отвернулась к печи. Он шагал через двор, подняв воротник, чувствуя, как холод вползает под одежду, как липнет к коже ночной воздух. Всё вокруг было до боли знакомо, но каким-то чужим — будто декорации, оставшиеся от давно сыгранного спектакля. Он украдкой оглянулся — окна были темны, никто не высунулся на порог, не окликнул его. И всё же ему чудилось, что за ним наблюдают, что где-то в глубине ночи кто-то стоит неподвижно, в тени, и молча смотрит ему в спину. Он проходил мимо кузни — или того, что от неё осталось. Почерневшие балки, обугленные стены, сорванная дверь, валяющаяся в траве. И вдруг в нос ударил резкий запах гари, смешанный с железом — густой, тягучий, как будто внутри кто-то только что снова разжёл горн. Он остановился. Горло перехватило. Этот запах — он был живым. Он шёл из прошлого. Драган хорошо помнил тот вечер, когда вошёл в кузню. Он знал, что в кузнице ночью никого не бывает. Усталый кузнец засыпал рано, устав от тяжёлой работы, а его подмастерья не решались ночами слоняться среди раскалённого железа. Однако, когда он открыл тяжёлую скрипучую дверь, его встретила непроглядная тьма, пропитанная запахом угля, сажи и металла. Он шагнул внутрь, осторожно, затаив дыхание. Половицы под ногами проскрипели, и он замер, прислушиваясь. Тишина. Драган знал, где искать. Нож с гравировкой *Милена* висел на стене среди других клинков, сияя в слабом свете луны, пробивавшемся сквозь щель в крыше. Он протянул руку, но в этот момент где-то в углу послышалось едва слышное шевеление. Он резко обернулся. Тьма, глухая, неподвижная.

— Кто здесь? — одними губами прошептал Драган, сам не понимая, зачем. Ответом была тишина. «Показалось...» Он шагнул к стене, медленно потянулся к ножу и снял его с крюка. Острие сверкнуло, отразив лунный свет. Рукоять была тёплой, как будто нож только что держали в руках. Стук сердца заглушил дыхание. Он развернулся и быстро зашагал к выходу, но перед самой дверью снова услышал шорох. Уже громче, явственнее. Кто-то там, в темноте, за наковальней. Драган рванулся наружу, в морозный воздух. «Никого там не было... Никого...» ...пепел хрустел под ногами, как сухие листья прошлого, которое не забывает и не прощает. Драган стоял, опустив голову, вцепившись пальцами в край куртки. В груди будто снова полыхнуло то же пламя — не от огня, а от стыда, страха и чего-то неизменного. Он уже не был тем мальчишкой, ворующим нож из кузни. Но и простым человеком он быть больше не мог. Хруст. Где-то в стороне, за плетнём, — короткий, еле слышный. Драган замер, весь вытянулся в слух. Тишина снова сомкнулась, но уже не была мертвой. В ней появилось что-то живое, враждебное, тяжёлое. Он не знал — люди ли это, животные, но нутром почувствовал: **идут за ним**. Он отступил в тень, разом сбросив с себя воспоминание, будто старый плащ. Всё внутри напряглось, собралось в тугой узел. Осталось только **сейчас**, только **ночь**, только **бежать**. Он шагнул за угол, избегая открытых мест. Подошвы утопали в мокром мху. Сердце стучало в висках — не от страха, от острого, хищного желания **выжить**. Где-то за деревьями, совсем близко, коротко протрещала ветка. Он побежал. В сумке звякали монеты, завернутые в кусок ткани, чтобы не было слышно звука. Деньги, камни, кольца — всё, что можно было унести. Он не думал о будущем, не знал, куда пойдёт, но нутром чуял: ночь его укроет, только бы успеть уйти, пока не настало утро. Позади, за спиной, в темноте деревни, кто-то откашлялся, негромко, будто подавая знак. Драган вздрогнул, но не остановился, шаг ускорился, побежал. Тьма сомкнулась за ним. Лес стоял застывший в вечном сумраке, тёмный и неподвижный, как

древний каменный истукан. Драган, словно тень, скользил между деревьями, его движения были быстры и отрывисты, как у загнанного зверя. Он не знал, сколько времени у него осталось, сколько ещё шагов отделяло его от спасения или гибели. Руки его дрожали, словно осенние листья на ветру, когда он разравнивал землю руками, а затем утрамбовывал её сапогом. В этой холодной, сырой земле, в самом сердце тёмного леса, лежало всё, что он успел накопить. Каждая монета, каждая драгоценность, каждая дорогая сердцу безделушка – всё было здесь, погребённое под слоем земли и опавшей листвы. Закончив работу, Драган окинул взглядом место захоронения. Земля была тщательно разровнена, следы его работы почти не видны. Но он знал, что этого недостаточно. Он должен был оставить метку, знак, который укажет ему путь к спрятанному сокровищу, даже если пройдут годы. Он огляделся по сторонам, ища подходящий ориентир. В нескольких шагах от него росла старая сосна, её ствол был покрыт глубокими морщинами коры, словно лицо мудрого старца. Драган подошёл к дереву и достал из кармана нож. Он долго и тщательно вырезал на коре сосны знак – перекрещенные стрелы, направленные вниз. Этот знак был известен только ему, тайный символ, который он придумал много лет назад. Закончив работу, Драган отступил на несколько шагов и окинул взглядом место захоронения. Сосна с вырезанным знаком служила надёжным ориентиром, указывая на спрятанный клад. Он запомнил расположение других деревьев, камней и кустов вокруг, создавая в своей памяти подробную карту местности. Убедившись, что всё сделано, Драган ещё раз окинул взглядом место захоронения. Он чувствовал, как тяжесть сваливается с его плеч, но в то же время его сердце сжималось от горечи. Он оставил здесь не только своё имущество, но и часть своей жизни, часть своей души. Словно тень, он растворился в тёмном лесу, оставляя за собой лишь тишину и тайну. Здание бывшего уездного управления, мрачное и величественное, словно застывшее в прошлом, служило теперь комендатурой. Тяжёлая дверь, окованная ржавым железом, с трудом поддавалась, пропуская внутрь густой, спертый воздух, пропитанный запахом табака, жареного мяса и пота. Внутри, в просторной комнате с высокими потолками и турецкими окнами, царил полумрак, рассеиваемый тусклой лампой. Лука сидел за столом, развалившись, будто хозяин. Рядом – немецкий офицер, коротко стриженный, с холодными глазами. На столе – шнапс, хлеб, консервы.

—

Драган! – Лука улыбнулся, но в улыбке чувствовалась напряжённость. – Где пропадал? Неужели решил, что война обойдёт тебя стороной? Садись, выпей с нами.

Драган сел, снял шапку. Оглядел их. В его взгляде не было страха, лишь усталость и холодная решимость.

—

Дела были, – ответил он, избегая подробностей. – Такие, что лучше не знать.

—

Дела? – Лука усмехнулся, пытаясь скрыть беспокойство. – В такое время у всех дела. Но некоторые предпочитают делать их на благо... скажем, общего дела.

Немецкий офицер, не отрывая взгляда от Драгана, задал вопрос Луке на немецком:

—

Was ist mit ihm?

(Что с ним?)

Драган чуть улыбнулся, показывая, что понимает:

—

Ich verstehe ein wenig Deutsch.

(Я немного понимаю по-немецки.)

Офицер приподнял брови, оценивая его:

—

Sehr gut. Und sprechen?

(
Очень
хорошо

.

И говорите?)

Драган пожал плечами: – *Ein bisschen*. (Немного.)

Офицер кивнул Луке:

–

Нам нужен человек, который знает местность.

И говорит по-немецки.

Лука медленно повёл рюмку перед собой, словно размышляя:

–

«Драгану везёт», — сказал он с усмешкой, в которой сквозила зависть. — Только появился, а уже возможность отличиться.

Офицер не обратил внимания на тон Луки:

–

Он поедет со мной.

Лука, после короткой паузы, махнул рукой:

–

Забирайте. Но помните, он человек себе на уме.

Драган выпил шнапс, чувствуя, как горит горло. Он понимал, что стал пешкой в чужой игре. Но, возможно, это его шанс. На рассвете во дворе лежали вещи: шинель, сапоги, ремень. Офицер смотрел на Драгана, словно оценивая его боеспособность.

–

Jetzt bist du einer von uns.

(Теперь ты один из нас.) – сказал офицер, его голос звучал как приговор. – Твоя задача – помогать мне.

И не задавать лишних вопросов.

Драган взял форму. Одел её. Шинель была чужой, грубой, но она давала ощущение принадлежности.

–

Я понимаю, – ответил Драган, его голос был ровным и спокойным. – Но я хочу знать, куда мы едем.

Офицер посмотрел на него с холодным презрением:

–

Это не твое дело. Твоя задача – выполнять приказы.

В этот момент Драган почувствовал, как что-то меняется внутри. Он больше не был одиноким скитальцем. Он стал частью военной машины. И это чувство, странное и новое, заставило его улыбнуться. Не радостно, а холодно, как улыбаются те, кто нашёл своё место в этом жестоком мире

Глава

МИЛЕНА

Дом Милены и Анте давно перестал быть просто домом. За высоким забором днём и ночью стояла охрана, у ворот скучали двое усташей с винтовками, а во дворе всегда кто-то ходил, прислушиваясь к каждому шороху. Внутри царила тревожная тишина, натянутая, как леска, готовая лопнуть от малейшего звука. Анте приходил поздно. Сапоги гулко ударялись о каменные ступени, его тяжёлый шаг разносился по дому, и в этот момент Милена замирала. В руках — холодная ложка, в груди — холодный страх. Она ждала: каким он будет сегодня? Иногда он приходил пьяным, уставшим, бросал оружие на стол и падал на диван, молча вглядываясь в потолок. Иногда — взвинченным, раздражённым, с прилипшими к форме пятнами крови, которые даже не пытался оттереть.

— Милена, — звал он хрипло.

Она подходила, как приговорённая, и он хватал её за запястье. Её руки были холодны, его — горячие, сильные. Анте вглядывался в её лицо с жадностью, с той странной, пугающей нежностью, которая страшила её больше всего.

— Ты боишься меня?

Она не отвечала. Он усмехался, целовал её лоб, оставляя запах табака и металла.

— Нечего бояться. Тебе ничего не грозит, пока ты моя.

Иногда он ласкал её — почти бережно, с какой-то собственной, уродливой любовью. А иногда за этим следовали порывы ярости, вылитой в грубые объятия, в приказы, которые нельзя слушаться. Милена никогда не знала, кто войдёт в дом вечером — человек или зверь. Но страх становился привычным. Она давно перестала плакать. Когда родился сын, она долго смотрела на его крошечное лицо, на тонкие, почти прозрачные веки, на крошечный рот, слабо приоткрытый во сне. Она ждала, что почувствует что-то — радость, умиление, нежность. Говорили, что материнская любовь накрывает, как волна, что, едва взглянув на дитя, женщина забывает все тяготы, все страхи, что сердце распаивается навстречу новому существу. Но ничего не происходило. Она видела в нем Анте. Эти губы, что в будущем будут складываться в ту же усмешку. Эти глаза, серо-стальные, как холодный металл, так похожие на его, на того, кто приходил в её комнату, не спрашивая. Она не плакала. Она кормила его механически, как кормят щенка, который случайно остался в доме. Она меняла пелёнки, мыла его, укладывала спать. Она знала, что должна чувствовать — заботу, привязанность, может быть, даже благодарность за то, что не осталась одна. Но сердце было холодным. Анте приходил редко. Однажды он вошел в комнату, тяжело опустился рядом, взял сына на руки.

— Ты мой мальчик, — сказал он, и голос его впервые был мягким.

Милена наблюдала за ним. В этом лице было что-то, что она начинала узнавать. Этот человек, которого она ненавидела, которого боялась, в чьих объятиях замирала, как птица под змеей, вдруг выглядел иначе. В его глазах не было ни жесткости, ни насмешки. Она думала о том, что если бы встретила его в другой жизни, если бы не было войны, если бы он не был таким, каким был... Но это было бы уже не он.

— Ты счастлива? — спросил он однажды. Она посмотрела на него. Она не знала, что ответить. Сына называли в честь деда Радованм. Радован старший не часто навещал их дом, но, когда приходил всегда приносил подарки, и Милена удивлялась этим вещам, которых раньше, до войны в деревне не видела. Однажды Радован пришел к ним с Лукой и затребовал накрыть большой стол, чтобы отметить удачную операцию против партизан, которую провел Анте. За столом, накрытым богатой, щедрой рукой, сидели трое: Анте, Радован и Лука. Вино лилось обильно, звенели кубки, с сочащегося жиром подноса пьяными руками хватали ломти мяса, бока хлеба крошились под тяжёлыми ножами. Пьяные речи то и дело переходили в смех, смех

— в полушёпот, а в полушёпоте слышалось что-то глухое, давящее, словно разговоры эти — не для чужого уха. Радован был в ударе — гремел голосом, стучал кулаком по столу, заставляя чаши звенеть, ухмылялся и потягивал вино из тяжёлого кубка.

— Ну, за удачу, Анте! — он наклонился вперёд, вбирая губами капли вина, поблескивавшего в свете лампы. — Такая удача бывает раз в жизни!

— Ты это правильно сказал, Радован, — поддакнул Лука, обводя взглядом комнату. —

Но удача ведь штука переменчивая... Он криво усмехнулся и сделал глоток, с прищуром глядя на хозяина дома. Радован весело расхохотался.

— А-а, Лука! Всегда со своими загадками. Лучше пей!

Радован, покрасневший, с тяжёлым взглядом, громко вздохнул, снял сюртук и скинул его на спинку стула. Под распахнутым воротом его рубахи сверкнул серебряный крест, украшенный камнями, тяжёлый, массивный, покачивающийся на кожаном ремешке Луки, державший кубок у губ, вдруг замер. Глаза его, маленькие, цепкие, вспыхнули.

— Это что у тебя? — медленно, как бы нехотя, проговорил он.

Радован лениво тронул крест пальцами, чуть приподнял его, посмотрел на него с таким видом, будто видел впервые.

— Это? — он ухмыльнулся, откинулся на спинку стула. — Крест наш, родовой. Из старых времён.

Лука медленно поставил кубок на стол, не спуская глаз с драгоценности.

— Хороший крест...

Радован помолчал, затем, как бы что-то вспомнив, нахмурился.

— Не просто хороший. Дело не в серебре, Лука. Это оберег. Передаётся из поколения в поколение.

— А что, если продать? — Лука сузил глаза.

Радован усмехнулся.

— Лука, ты что, глупец? Это не продаётся. Это кровь моя. Это моему внуку.

Лука молчал, пристально разглядывая крест. В глазах его мелькала мысль, тёмная, цепкая, и было в этом взгляде что-то такое, отчего даже Анте вдруг почувствовал странную тревогу.

— Лука, — сказал он, приглушая голос, — что с тобой?

Лука вздрогнул, взглянул на него.

— Ничего, — тихо сказал он, поднялся. — Ничего... Я пойду.

Он резко отвернулся, шагнул к выходу.

Радован хмуро посмотрел ему вслед, потом снова взял кубок.

— Ну и чёрт с ним, — буркнул он, плеснув вина.

Анте смотрел, как дверь медленно закрылась, оставляя в воздухе странную, гнетущую тишину. Лука ушёл слишком быстро. Лука слишком внимательно смотрел. Лука не попрощался... Они выпили еще по одной и Радован засобиравшись домой. Анте предложил его провести, но Радован гордо отказался. Осень выдалась тяжёлая, сырая, с постоянными дождями и туманами, затягивавшими улицы густой серой пеленой. Радован спешил, словно тень, скользящая между деревьями. Он знал, что Лука не прощает отказов, особенно когда речь шла о чем-то столь ценном, как старинный крест с камнями. Этот крест был не просто украшением, он был реликвией, связанной с древним родом, к которому принадлежал Радован. По легенде, этот крест обладал не только материальной ценностью, но и магической силой, способной даровать власть и богатство. Туман, густой и холодный, висел низко над землей, скрывая очертания леса. Радован чувствовал себя потерянным в этом молочном мареве, словно плывущим в вязкой жидкости. Он озибался по сторонам, пытаясь разглядеть хоть что-то, но туман был непроницаем. Он знал, что Лука где-то рядом, и это знание ледяной рукой сжимало его сердце. Лука вышел из серой пелены без звука, как будто не подошёл, а возник, и остановился на рас-

стоянии, достаточном, чтобы видеть лицо, но не давать возможности уйти. Радован вздрогнул не от неожиданности — от узнавания.

— Ты... — выдохнул он, и в этом коротком слове уже была ошибка: он назвал его прежде, чем понял, зачем тот пришёл. Лука не ответил сразу. Он смотрел внимательно, почти спокойно, как смотрят на человека, от которого зависит не разговор, а исход.

— У тебя есть то, что мне нужно. Это прозвучало не как вопрос и не как угроза — как утверждение, которое не требует подтверждения. Радован нервно усмехнулся, отступил на полшага, машинально оглянулся — жест, выученный за последние годы.

— Ты ошибся, Лука. У меня есть деньги. Сколько скажешь. Больше, чем стоит любая вещь.

— Мне не нужны деньги. Лука сделал шаг вперёд. Небольшой, но достаточный, чтобы Радован остановился.

— Мне нужен крест. Тишина на секунду стала плотнее. Радован опустил взгляд, и в этом движении уже было признание.

— Ты не понимаешь, о чём говоришь, — сказал он тише. — Это не вещь. Это... старое. С ним только проблемы. Лука чуть наклонил голову.

— Тогда отдай.

— Я сказал — это не...

— Отдай.

В голосе Луки не было раздражения, но исчезло и то спокойствие, с которого он начал. Радован поднял глаза, и в них впервые мелькнуло настоящее — не торг, не расчёт, а страх, перемешанный с чем-то вроде упрямства.

— Ты слышал про него?

— Слышал достаточно.

— Тогда ты должен понимать... — он замялся, словно выбирая, сколько можно сказать. — Это не просто крест. Он... он не для нас.

Лука молчал.

— Его носили те, кто... — Радован снова оглянулся, понизил голос. — Это идёт ещё от тех времён. От походов. От людей, которые не возвращались.

Лука сделал ещё один шаг.

— Говори.

Радован покачал головой.

— Ты не понимаешь. Это не золото. Это не трофей. С ним... с ним связана история.

— Какая.

Теперь это было не требование — давление. Радован сжал губы, как будто решаясь, и заговорил быстрее, чем собирался:

— Говорят, он указывает путь. Не сам по себе — если знаешь, как смотреть. Там знаки. Не узор. Не украшение. Смысл. Те, кто его носил, знали, где искать... — он замолчал, словно уже сказал лишнее. Лука не отрывал от него взгляда.

— Что искать.

Радован не ответил сразу. Он будто пытался вернуть слова назад.

— Это старая легенда. Про меч. Про силу, которую нельзя просто взять. Только если тебя... — он осёкся.

— Если тебя что.

— Если ты понимаешь, что держишь.

Лука чуть улыбнулся. Не насмешливо. Как человек, который услышал ровно то, что хотел.

— Я понимаю.

Радован резко покачал головой.

— Нет. Ты не понимаешь. Это не про войну. Это не про нас. Это... — он запнулся, и в голосе появилась хрипота. — Это про власть, которая не заканчивается, когда заканчивается всё остальное.

Тишина стала тяжелее. Лука протянул руку.

— Крест.

Радован не двинулся.

— Я могу дать тебе всё, что у меня есть.

— Мне не нужно всё.

Пауза.

— Мне нужно это.

Радован медленно опустил руку к карману, но не достал.

— Ты не уйдёшь с этим, — сказал он почти шёпотом. — Ты думаешь, ты возьмёшь его и... что? Поймёшь? Такие вещи не берут просто так.

Лука сделал последний шаг. Теперь расстояния между ними почти не было.

— Я не беру. Я забираю.

И в этот момент стало ясно: разговор закончился раньше, чем начался. Радован понял это тоже. Поздно. Он попытался отступить, но нога задела камень, движение сбилось, и этой доли секунды оказалось достаточно — не для удара даже, а для решения, которое уже было принято.

Лука действовал быстро, без резкости, почти точно, как если бы выполнял давно отработанное действие, и когда всё закончилось, он не сразу отпустил нож, словно проверяя, действительно ли это уже произошло. Радован осел, хватаясь за воздух, глаза его ещё пытались что-то сказать — не о боли, не о страхе, а о том, что осталось недосказанным. Лука стоял над ним молча. Потом наклонился. Достал крест. На мгновение задержал его в руке. Металл был холодный. Но уже через секунду — тёплый. Он поднёс его к глазам, всматриваясь не как в добычу, а как в текст, который нужно прочитать. И впервые — не подумал. Понял. Это схема. Он медленно провёл пальцем по линиям. Туман сомкнулся вокруг них, скрывая всё, что произошло. Лука спрятал крест под рубашку. И только после этого оглянулся. Не чтобы проверить — чтобы убедиться: назад дороги больше нет.

ПЕТЕР

В прокуренном кабинете было тихо, только тикали часы и потрескивал недокуренный окурок в переполненной пепельнице. Петер сидел, опершись локтями о стол, и медленно перетасовывал фотографии, как карточную колоду. Четыре убийства. Четыре фотографии лиц, искаженных ужасом. Четыре тела с одной и той же смертельной раной. Разные деревни, разные обстоятельства, но одно оставалось неизменным: туман. Его появления ждали, как приметы беды. Когда он сползал с гор на улицы, затягивал дома и сады серым маревом, находили очередного мертвеца. Петер взял последнее фото. Николай Грбан. Бывший усташ, лавочник, когда-то мельник. Теперь — просто тело, лежащее в собственной лавке. Рядом другая фотография. Петер провёл пальцем по краю фотографии. Николай, молодой, ухмыляющийся, стоит на фоне чёрной коробки здания с пустыми глазницами окон. Обгоревшая синагога. Он долго смотрел на снимок, словно надеялся, что тот сам даст ответ. Ему не нравилось это. Не нравилось, что его расследование вдруг потянуло за собой призраки прошлого. Он не был сентиментальным. Всё это — старая история, погребённая под десятками лет. Но теперь она всплывала именно там, где начиналась серия убийств. Петер никогда особенно не думал о евреях. Не то чтобы он был против них, но и особой жалости не испытывал. После войны столько всего изменилось, столько крови пролилось, что выискивать теперь, кто прав, кто виноват — бессмысленно. Люди приспособляются, забывают, живут дальше. Но убийца — тот, кто оставляет за собой эти аккуратные ножевые раны, — он не забыл. Он жил этим, помнил что-то, чего Петер ещё не знал. Синагога. Петер вздохнул, потёр виски. Он не знал, где это место, не знал, что именно связывает его с Николаем. Но если это единственная ниточка, то придётся за неё потянуть.

Он надел пиджак, схватил снимок и вышел. Пора в архив. В читальном зале было прохладно, пахло пыльной бумагой, чернилами и чем-то ещё неуловимо старым — временем, затеявшимся в пожелтевших страницах. За окном лениво кружилась пыль, рассеиваясь в лучах предвечернего солнца. Петер сидел за тяжёлым деревянным столом, устало потирая виски. Он ещё не знал, зачем ему всё это, но нутром чуял — здесь, в этих потрёпанных папках, спрятан ответ. Архивистка, немолодая женщина с тонкими пальцами и цепким взглядом. Она взяла в руки фотографию, которую принес Петер.

— Да, это Крижевецкая синагога, — негромко сказала она, словно эта фраза имела вес, который невозможно произнести громче. — Была разграблена и сожжена в сорок втором. Тогда же устроили погром.

Петер ничего не сказал.

— Из всей еврейской общины, сто девятнадцать человек, выжили только пятнадцать. — продолжала женщина, переворачивая лист с архивной записью. Он медленно выдохнул.

— Дайте мне всё, что у вас есть по Крижевцам, — сказал наконец.

Женщина подняла брови, но кивнула. Через несколько минут перед ним легли бумаги: свидетельства выживших, протоколы допросов, газетные вырезки. Петер начал листать. Описание поджога. Мужчины, вытаскивающие из горящих домов стариков и детей. Женщины, загнанные в сарай. Смех. Пьяные песни. Ему не нужно было читать дальше, он и так знал, как всё это происходило. Но потом он нашёл её. Фотографию. На ней — семь мужчин. Одеты по-разному: двое в военной форме, остальные в гражданском. В руках винтовки один держит пистолет, другой зажал в пальцах сигарету, ухмыляясь в объектив. Среди них Петер сразу узнал Николая и остальных убитых в тумане. За их спинами синагога. Чёрный, обугленный каркас здания. Петер перевернул снимок. Неровный, нетрезвый почерк: **«На память о весёлых днях в Крижевцах»**. Петер несколько секунд смотрел на эту надпись, словно она могла сказать больше, чем просто слова. Он медленно перевернул фотографию, снова посмотрел на неё, но теперь уже иначе. Молодой Николай, самоуверенный, ухмыляющийся. Стоит на фоне опа-

лённой синагоги. В его взгляде — не просто победа. Там что-то ещё. Презрение? Насмешка? Петер нахмурился. Всю жизнь он не любил вопросов о евреях. Слишком тонкая, слишком острая тема. О ней не говорили вслух, но она всегда жила в этих краях — в пустых домах, в стёртых именах, в кусках расписной плитки, которые находили в садах после дождей. Евреи... Кто-то о них помнил, кто-то делал вид, что их никогда не было. Он не был сентиментален, он просто делал свою работу. Но теперь всё упиралось в эту фотографию. В Крижевцы. В этот кривой почерк на обороте. Петер провёл пальцем по снимку, по застывшим лицам, которые смотрели на него из прошлого. Слишком много совпадений. Слишком много мёртвых. Слишком много тумана. Он выдохнул, подавляя раздражение. Петер сжал пальцами фотографию и прикрыл глаза. Семеро мертвы. Один остался. Кто он? Где? Он сам прятался, или просто судьба миловала его? Понимал ли, что все остальные давно в земле? Знал ли, что за ним идёт охота? Петер снова посмотрел на снимок. Восьмой. Последний. Он сжал челюсти, облокотился на стол, постучал пальцем по фотографии. Если убийца следовал этой последовательности, если за каждый год приходился один труп... Значит, этот человек был следующим. А если так, то он должен стать приманкой. Убийца ждёт тумана. Так же, как ждал его каждый раз. У него есть чёткий ритуал, чёткий порядок. Петер уже не сомневался — этот человек не просто убивал. Он вычислял, выжидал, готовился. Но почему именно эти люди? Он снова перевернул снимок. *"На память о весёлых днях в Крижевцах."* Слова смотрели на него с пожелтевшей бумаги, и в каждом было что-то омерзительное. Весёлые дни... в сожжённом городе, среди расстрелянных семей. Петер медленно втянул воздух. Сначала найти его. Немедленно. Пока кто-то другой не нашёл раньше. Он подался вперёд:

— Где можно найти списки жителей Кружевец?

Архивистка, повела плечом:

— В мэрии, в полицейском участке... где же ещё.

— Старые списки.

— Если повезёт, что-то осталось. — Она задумалась. — Хотя... Несколько лет назад приходил мужчина и женщина спрашивали про тех, кто жил в Крижевцах до войны. Я даже делала для них копию этой фотографии.

Петер резко поднял голову.

— Как они выглядели?

— Да кто ж их разберёт... Деревенские. Не приметные.

— Но что-то же вы запомнили.

Она уже собралась отмахнуться, но вдруг нахмурилась.

— Один был в солдатских ботинках.

— И что?

— С жёлтыми шнурками.

Петер медленно откинулся на спинку стула. Жёлтые шнурки. Что-то зашевелилось в памяти, но не прояснилось. Как кусок ткани, мелькнувший в темноте. Он молча встал, накинул пальто, кивнул архивистке. Теперь ему нужно было ехать в Крижевцы.

МИЛАН

После похорон отца Милан вернулся в монастырскую школу. Учился, не щадя себя, гнался за знаниями с неистовой жадой, словно пытался отыскать в них что-то, что могло бы объяснить ему этот мир. Литература особенно влекла его. Он перечитал почти всё, что только было в монастырской библиотеке: церковные книги с пыльными кожаными корешками, ветхие фолианты по астрономии и химии, чудом оказавшиеся здесь рыцарские романы и книги о дальних странствиях. Читал жадно, самозабвенно, забываясь.

Зоран тоже учился старательно, но ему больше давались числа. В математике он не знал себе равных. По выходным они встречались с Галинкой и Марикой. Девочки мечтали уехать

в город, получить профессию, жить по-другому, по-новому. А потом, когда-нибудь, они все поженятся, их дети будут вместе расти, играть, ходить в один детский сад... Всё казалось таким простым, ясным, понятным. Но вот настал последний учебный год. Осень в тот год выдалась суровой. Сентябрь был дождливым, октябрь принёс холод, это значило, что туман был уже близко. Тот самый, плотный, тяжёлый, непроглядный, который приходит всегда. В один из прохладных, но безоблачных выходных Милан и Галинка отправились в лес за грибами. Ветер был свежий, воздух наполнен запахом влажной земли. Они долго шли рядом, подбирая грибы, но потом разошлись в поисках добычи. Милан не мог переключаться с Галинкой, но слышал её голос где-то впереди, ловил её звонкий смех, чувствовал её присутствие. Он отвечал ей постукивая палкой о палку. Но внезапно над лесом задрожало что-то невидимое — будто воздух стал гуще, тяжелее, пропитался тайной. Сначала всё вокруг лишь чуть померкло — деревья потеряли чёткость, трава потускнела, как старая ткань. А потом, словно кто-то пролил на мир блюдо горячего молока, налетел туман — густой, белёсый, с запахом сырой земли и далёкой воды. Он не пришёл — он вырос. Медленно, неуклонно, из-под корней, из-под мха, из самой тишины. Сначала окутал землю, залил тропинку, расплылся между кустами, поднялся по ногам, как тёплая парная вода. Затем — выше, обволакивая стволы, ветви, плечи, лица. Всё исчезло. Мир рассыпался на белые клочки. Исчезли сосны, исчезла дорога, исчез даже свет. Милан остановился. Туман не был пугающим. В нём было что-то мягкое, даже ласковое — как в раннем детстве, когда укрывают одеялом и шепчут: «Спи, не бойся». Он глушил звуки, приглушал мысли, растягивал мгновение. Пахло грибами, листвой, чем-то старым и добрым, как альбом с выцветшими фотографиями. Милан замер. Прислушался.

— Я здесь! — крикнула Галинка, но голос её уже был странным, каким-то приглушённым, словно шёл издалека, из-за стены.

Он шагнул на звук. Потом ещё. Голос снова прозвучал — ещё глуше, ещё дальше. И вдруг... Короткий, сдавленный вскрик. А потом — удар. Глухой, страшный, такой, от которого внутри всё оборвалось. Милан застыл, сердце заколотилось. Он рванулся вперёд, спотыкаясь о корни, раздирая руки о ветки, погружаясь в белую стену тумана. Пустота под ногой — он чуть не сорвался в пропасть, но удержался, вцепившись в мокрый камень. Сердце колотилось так, что отдавало в висках. Внизу, в молочной пелене, ничего не было видно, но он уже знал. Знал с той животной уверенностью, что приходит перед непоправимым. Спуск был мучительным. Камни осыпались, холод тумана проникал до костей. И вот он увидел её. Галинка. Неподвижное тело среди острых камней. Голова неестественно запрокинута, волосы спутаны и темны от крови. Платье задрано, обнажая страшно вывернутую ногу... Мертва. Милан рухнул на колени рядом. Протянул руку, коснулся её щеки — ледяная. Под пальцами ощутил липкую влагу крови на камнях. Мир сузился до этого маленького, растерзанного тела, до запаха сырой земли и железа. Тишина давила, сжимала горло, та самая тишина, в которой он жил годами, ставшая его тюрьмой. Он хотел закричать — как тогда, в детстве, когда увидел... Но не мог. Немота сковала его, как цепями. Грудь сдавило невыносимой болью, такой, что казалось, она вот-вот разорвётся. Он открыл рот, пытаясь вытолкнуть из себя этот ужас, эту потерю, но из горла не шло ни звука. Только безмолвный, искажающий лицо спазм. И вдруг что-то внутри сломалось. С хрипом, с усилием, которого он не прилагал с того самого дня, из глубины его существа вырвался звук. Не крик — скорее, рёв раненого зверя. Грубый, сдавленный, чужой. Милан замер, не веря. Он слышал. Он слышал себя! Этот звук, прорвавшийся сквозь годы молчания, оглушил его. И тогда он закричал снова — уже не сдерживаясь, вкладывая в этот крик всю боль, весь ужас, всю свою разрушенную жизнь. Голос, вернувшийся к нему над телом мертвой возлюбленной, рвал тишину леса, смешиваясь с плачем и яростью. После смерти Галины Милан долго не мог прийти в себя. Он сидел у окна, глядя в пустоту, не отвечая на вопросы, не отзываясь, когда его звали. Глаза его стали потухшими, лицо осунулось, губы часто дрожали, будто он что-то говорил в своей голове, но вслух не произносил ни звука. Зоран, чувствуя себя беспомощным,

снова и снова пытался растормошить друга. — Милан, да ведь ты не виноват... — говорил он, осторожно дотрагиваясь до его плеча.

— Ну скажи что-нибудь... Ну хоть слово!

Но Милан молчал. Прошли недели. Жизнь вокруг шла своим чередом: мальчишки бегали по улице, женщины спешили на рынок, в храме звонили колокола, перекликаясь с далёким шумом ярмарки. Но для Милана всё это оставалось чем-то далёким, словно происходило за невидимой стеной. Он не слышал смеха, не замечал запахов, не ощущал тепла солнца. Всё застыло в одном страшном мгновении. Он просыпался утром, не чувствуя разницы между сном и явью. Иногда кто-то подходил к нему, пытался заговорить — Зоран, отец Симон, даже учителя — но слова не доходили до него. Так продолжалось до дня, когда приехала мать. Анна явилась неожиданно, запыхавшаяся, встревоженная, с глазами, покрасневшими от тревоги и недосыпа. Стоило ей войти в дом, как она бросилась к сыну, опустилась перед ним на колени, обхватила его лицо ладонями.

— Милан... Милан, посмотри на меня... — Голос её дрожал, в нём было столько боли и любви, что даже он, отрешённый от всего, вздрогнул.

Анна смотрела в его лицо, искала в нём ответ, хоть какой-то знак, что он ещё здесь, что её сын не исчез в своей немоте.

— Милан... Ты живой. Ты здесь. Я так боялась...

Он молчал. Она прижала его голову к своему плечу, гладила по спутанным волосам.

— Сынок, я здесь... Я рядом...

И вдруг он хрипло, тихо, словно учился заново говорить, произнёс:

— Это ещё одна жертва тумана...

Анна вздрогнула, отстранилась и заглянула в его лицо.

— Ты... сказал что-то? Милан, ты заговорил?

Он поднял на неё глаза. Она сжала его руку, и в её глазах вспыхнула радость, боль, облегчение, тревога — всё сразу. Когда об этом узнал отец Симон, он перекрестился и сказал: — Благодарение Господу! Горе должно было очистить твою душу... Но больше всех радовался Зоран.

— Теперь можно, наконец, поговорить! А то всё я, да я... — Он хохотнул, но в голосе его звучала нервность.

— Это тебе никогда не мешало, — слабо усмехнулся Милан.

— Ну да, но всё же... Иногда хочется получать ответы на свои вопросы!

Юноши заговорили, сначала осторожно, словно пробуя слова на вкус, потом увереннее. Они много говорили, но обо всём — только не о том, что случилось в тот проклятый день. Впрочем, и без слов было ясно: пустота, образовавшаяся в душе Милана, не заполнилась. Анна была счастлива. Её сын снова говорил, а значит, возвращался к жизни. Но она видела: он изменился. В нём было что-то холодное, отстранённое, будто он не до конца вернулся из своей внутренней тьмы. Когда Милан снова начал ходить в класс, ученики встречали его по-разному. Кто-то отводил глаза, не зная, что сказать. Кто-то, напротив, с любопытством поглядывал, будто ожидая, что он вдруг расскажет о своём горе вслух. Но больше всего его удивило внимание Роберта Фуци. Роберт был одним из лучших учеников, сын старосты деревни. Он всегда держался чуть в стороне, но не из-за скромности, а скорее потому, что чувствовал своё превосходство. Раньше он почти не замечал Милана, после той драки, случившейся в самом начале, но теперь что-то изменилось. Однажды, после урока, он подошёл к нему и сказал:

— Ты изменился.

Милан поднял брови.

— В каком смысле?

Роберт усмехнулся.

— В глазах у тебя что-то другое. Раньше ты был... мягче. Теперь — нет.

Милан ничего не ответил.

— Это не плохо, — добавил Роберт, пожав плечами. — Просто... интересно.

И ушёл. С того дня Милан начал замечать, что Роберт время от времени смотрит на него с чем-то похожим на уважение. Это было странно. А может, и не так уж странно. Ведь действительно, внутри него что-то умерло. И что-то родилось заново. Зима выдалась снежная, красивая, такая, какая бывает только в детстве: белоснежные сугробы искрились в морозном воздухе, скрипел под ногами снег, над деревней стояла тишина, наполненная только потрескиванием дров в печах да звонким детским смехом, доносившимся с горки. Зоран с радостью принял приглашение Милана провести Рождество у него дома. Ему нравился этот старый, прочный дом, где пахло тёплыми пирогами и свежей хвоей, где мать Милана, Анна, всегда встречала его с улыбкой и хлопотливо усаживала за стол. Но в этот раз Зоран вел себя иначе. С первых же дней Милан заметил, что друг как-то изменился. Зоран, всегда такой бойкий и беспечный, теперь часто молчал, подолгу сидел у окна, задумчиво глядя во двор, и, что самое странное, почти не слушал, когда Милан говорил с ним. А потом он понял, в чём дело. Зоран всё время смотрел на Душану. Младшая сестра Милана, Душана, выросла. Казалось, ещё совсем недавно она бегала за ними хвостиком, мешалась в мальчишеских играх, а теперь вдруг превратилась в стройную, живую, красивую девочку с длинной русой косой и ясными, смеющимися глазами. Она уже не пряталась за матерью, как прежде, а смело отвечала на шутки, смеялась вместе с ними и ловко бросала снежки в Зорана, попадая прямо в плечо. И Зоран... он вдруг стал совсем другим рядом с ней. Он пытался держаться естественно, но не мог. То вздрагивал, когда она смеялась, то краснел, когда она случайно касалась его руки, то вдруг замолкал, смущённо глядя на неё. Милан замечал это и с каждым днём мрачнел всё больше. Однажды, после катания с горки, когда Душана убежала в дом, чтобы помочь матери, Милан резко схватил Зорана за локоть.

— Ты что-то скрываешь. — Его голос был напряжённым, почти сердитым.

Зоран попытался отвести взгляд, но не смог.

— Что ты имеешь в виду?

— Не притворяйся, я всё вижу! — Милан сжал губы. — Ты весь день ходишь за Душаной, смотришь на неё, как...

Зоран покраснел.

— Милан...

— Говори прямо!

Зоран вздохнул и, немного помедлив, произнёс тихо:

— Мне нравится Душана.

Милан отпрянул, как будто получил удар.

— Что?!

— Ты всё правильно услышал.

— Ты с ума сошёл! — Милан вспыхнул. — У тебя есть Марика!

Зоран опустил голову.

— Я знаю...

— Тогда какого чёрта ты творишь?! Душана — моя сестра!

— Милан, послушай...

— Нет, это ты послушай! — Голос Милана стал жёстким. — Я не позволю тебе морочить ей голову!

Зоран поднял на него взгляд, и в его глазах было что-то новое — что-то твёрдое, серьёзное.

— К Душане у меня совсем другие чувства.

— Ах, вот как?! — Милан саркастически усмехнулся. — А к Марике какие?!

— Марика... — Зоран отвернулся, словно подбирая слова. — Я её люблю... но по-другому.

Милан тяжело дышал.

— Я не знаю, что с тобой происходит, но знай одно: если ты разобьёшь сердце моей сестре, я этого не прощу.

Зоран не ответил. Он смотрел на реку, укрытую льдом, и снег медленно падал на его плечи. По возвращении в монастырь Зоран твердо решил переговорить с Марикой. Он знал, что этот разговор неизбежен, но тянул с ним до последнего, словно надеялся, что время само всё расставит по местам. Они не встречались уже дней десять, но в субботу Марика прислала ему записку с просьбой встретиться. Марика ждала его на знакомой поляне у реки. Ветер играл в её светлых волосах, в глазах — ожидание, но без прежнего восторга. Когда-то она бросалась ему навстречу, едва завидев издали, а теперь стояла спокойно, будто предчувствовала, что услышит. Зоран подошёл, не зная, с чего начать. Он смотрел на неё, такую родную, с её тонкими, чуть покрасневшими губами, с лёгкими веснушками на щеках, но чувствовал: что-то между ними уже изменилось. — Марика... — Он вздохнул и отвёл взгляд. — Скоро школа закончится. Я собираюсь уехать... в университет, в большой город. Она не удивилась.

— Я знаю, — тихо сказала она. — Мы ведь мечтали поехать вместе.

— Да... — Зоран провёл рукой по волосам. — Но я не знаю где буду жить и не смогу приезжать часто. Учёба... новая жизнь...

Марика смотрела в землю, медленно переминаясь с ноги на ногу.

— Ты хочешь сказать, что, между нами, всё кончено? — её голос звучал спокойно, но пальцы нервно теребили край платка.

Зоран не ответил сразу. Он и сам не знал, что сказать. Всё было не так, как он представлял.

Я... — начал он, но Марика перебила:

— Ты уже не любишь меня, да?

Он резко поднял голову.

— Я... я не знаю.

Марика горько усмехнулась и прикусила губу.

— Нет, ты знаешь. Просто не хочешь сказать.

Она отвернулась, медленно отошла к дереву, прислонилась к нему спиной и вдруг заплакала. Плечи мелко вздрагивали, но она не издавала ни звука.

Зоран шагнул было вперёд, но остановился.

— Прости... — тихо сказал он.

Она всхлипнула, вытерла слёзы ладонью, подняла на него глаза — и в этом взгляде уже не было боли. Только усталость. И... какое-то странное облегчение.

— Наверное, так даже лучше, — прошептала она.

Зоран смотрел на неё, и сердце сжималось от чего-то неувидимого, но он знал — назад пути нет. Марика глубоко вдохнула, расправила плечи и улыбнулась, чуть печально, но спокойно.

— Я всегда знала, что ты уедешь. Ты рождён не для деревни.

Он попытался сказать что-то ещё, но она подняла руку, остановив его.

— Прощай, Зоран.

И он понял: это конец. Зимние месяцы в монастырской школе проходили в напряжённой подготовке. Учителя всё чаще говорили о грядущих экзаменах, о будущем, о том, что перед выпускниками открываются большие дороги. Зоран всё больше уходил в учёбу. Его мысли то и дело возвращались к Душане, но он не позволял себе мечтать. А Милан, хоть и не упоминал больше их рождественскую ссору, словно отдалился от него. Между ними не было прежней лёгкости, беззаботного смеха, дружеских шуточек. Теперь они говорили в основном о книгах,

экзаменах, будущем. Прошла весна, и вот настал день, когда ученики монастырской школы прощались с детством. Они уже не были мальчишками, беззаботно гоняющими мяч во дворе. Впереди их ждала новая жизнь. Настоятель собрал лучших учеников в храме. В воздухе пахло воском и старым деревом, солнечный свет пробивался сквозь высокие окна, заливая пол золотистыми узорами.

«Пути Господни неисповедимы», — говорил старый монах, обводя их строгим, но тёплым взглядом. — Учение — это путь к свету. Пусть же Бог благословит вас в вашем странствии.

Зоран стоял рядом с Миланом, чувствуя, как его сердце замирает. Это был порог новой жизни. Монастырь выделил им немного денег — скромную сумму, но достаточную, чтобы начать. Настоятель перекрестил их и, положив руку на голову каждого, тихо произнёс молитву. Зоран чувствовал, как всё прошлое остаётся позади. Впереди был большой город. Впереди была жизнь. Вечер медленно опускался на монастырский двор, заливая его мягким, золотым светом. Воздух был напоён запахами трав и сырого дерева, а где-то вдалеке гудела пчела, задержавшаяся в цветущем кустарнике. Зоран стоял, глядя в сторону дороги, где через несколько дней должна была появиться повозка, уносящая его в другую жизнь. Мысль о предстоящем отъезде волновала, но не давила — до тех пор, пока он не услышал тихие шаги за спиной. Душана подошла, как всегда, легко, будто ступая по воздуху. Глаза её были задумчивы, чуть тревожны, но губы улыбались.

— Ты уезжаешь?

Он кивнул.

— Скоро.

Душана посмотрела куда-то в сторону, будто не решаясь задать ещё один вопрос. Потом всё же произнесла:

— Ты будешь писать?

Зоран задержал дыхание. Он хотел сказать, что, возможно, не сможет. Что впереди у него будет другая жизнь, другой ритм, и письма... письма могут потеряться среди всего этого. Но тут же понял — он не хочет, чтобы так было.

— Да, — ответил он, и на этот раз в его голосе не было лжи.

Душана улыбнулась, но в её улыбке мелькнула тень.

— Я буду скучать по тебе, — добавила она, и её голос дрогнул.

Зоран хотел что-то ответить, но слова застряли в горле. Сердце гулко стучало, и ему казалось, что, если он сейчас скажет хоть что-то, оно разобьётся от этой странной, но сладкой боли. Душана вдруг шагнула ближе. Он почувствовал лёгкое прикосновение её руки к своей ладони, едва уловимый запах трав и солнца в её волосах. До встречи, Зоран, — сказала она, а в следующее мгновение её губы, тёплые и нежные, коснулись его щеки. Это было так быстро, так невесомо, что он не сразу понял, что произошло. Душана тут же отвернулась и, вздохнув, побежала к дому, оставив его стоять посреди двора с горячими щеками и дрожащими руками. Зоран провёл пальцами по тому месту, где только что был её поцелуй. В груди медленно разливалось странное, щемящее чувство — и не только боль утраты, но и светлая надежда. Возможно, их дороги разойдутся. Возможно, они больше никогда не встретятся. Но этот миг останется с ним навсегда.

АННА

В пещере, где ютились беженцы, царила атмосфера обреченности и надежды. Каждый день приносил новые лица, искаженные горем и усталостью. Женщины, потерявшие мужей и сыновей, старики, лишённые крова и средств к существованию, дети, чьи глаза видели слишком много ужасов — все они нашли приют в этой темной, сырой пещере. Михаил видел, что без оружия и продовольствия они обречены на гибель, и поэтому решил действовать. Он собрал вокруг себя группу бойцов, таких же отчаянных и решительных, как и он сам. Налеты на обозы усташей и немцев были не просто актами отчаяния, а тщательно спланированными операци-

ями. Михаил изучал маршруты передвижения врага, выявлял слабые места в их обороне, разрабатывал тактику нападения. Его отряд, словно тень, появлялся из ниоткуда, наносил стремительный удар и исчезал, оставляя за собой лишь смятение и страх. Отряд рос, а это значило, что возникла необходимость в новом более просторном и безопасном месте. Тьма густела над лесом, клубилась между стволами вековых дубов, засыпала землю влажной пеленой. В просветах между кронами деревьев тускло мерцали звёзды, но и их свет не мог пробиться сквозь этот непроглядный сумрак. Партизаны, разбили лагерь в чаще, у старого высохшего русла реки. Костры были скрыты в ямах, дежурные двигались бесшумно, оружие лежало рядом, наготове. Степан, невысокий, коренастый с серыми, тусклыми глазами. Он всегда держался в тени, не привлекая к себе внимания, и говорил мало, но внимательно слушал других. Степан был родом из бедной крестьянской семьи, и война лишила его всего. Однажды, во время налета на немецкий обоз, Степан был схвачен. Его жестоко пытали, требуя выдать местонахождение партизанского лагеря. Истерзанный и сломленный, он не выдержал и рассказал все, что знал. Анте забрал его у немцев и под страхом смерти его родных отправил в отряд как шпиона. Анте стоял у кромки леса, сжимая в ладони рукоять револьвера. Он ждал сигнала от Степана. За ним, в тени, пригнувшись, двигались его солдаты. Каждый шаг гас в мягком ковре из мха и опавших листьев. Внезапно в ночи раздался резкий свист. Этот звук, казалось, расколол тишину. Сразу за ним — рёв выстрелов, вспышки пламени, осветившие мрачные лица, крики, топот ног. Лес вздрогнул от разразившейся бури. Михаил выскочил из палатки, сжимая винтовку. Ночь рванулась навстречу хаосом — крики, вспышки выстрелов, мелькающие в темноте фигуры. Он прижался к стволу дерева, вглядываясь в сумрак. И вдруг — резкая вспышка. Выстрел. Острая боль пронзила Михаила. Он почувствовал, как кровь горячей волной растекается по боку, ноги подогнулись, мир вокруг заплесал, окутываясь красно-чёрным туманом. Он упал на землю, хватая ртом воздух, глаза затуманились. Анна, затаившаяся в тени палатки, видела всё. Она увидела фигуру, чуть освещённую всполохом пожара. Офицер. Высокий, с решительным лицом, в форме, ещё не пропитанной дымом и кровью, он быстро скрылся в темноте. Её сердце сжалось в ледяном ужасе. Всё внутри закричало, замерло, затем бешено забилося. Михаил! Нет, только не он! Время замедлилось, и Анна увидела, как он падает, его лицо искажает боль.

— Михаил! — её голос сорвался на крик, но Михаил уже оседал на землю, ощущая, как подгибаются ноги. Кто стрелял? Он не знал. Для него выстрел пришёл из темноты, из безымянного хаоса боя. Но Анна запомнила. Лицо, форма, холодный взгляд. В ней вскипела ярость, горячая, всепоглощающая, как огонь, готовый испепелить всё вокруг. Та, что раньше дремала в глубине её души, теперь взметнулась к самому горлу, сдавила его, наполнила грудь до отказа. Осталась только ненависть. Партизаны отступали, увлекая за собой раненых. Анна подбежала к Михаилу, видя, как его тело содрогается от боли. Она не задумывалась, не колебалась. Присев рядом, на мгновение коснулась его лба: горячий, живой.

— Держись, — прошептала она, сквозь гул боя и запах пороха.

Обхватив его под плечи, она рванулась вперёд, увлекая его за собой. Пули свистели над головой, срубая ветви, оставляя за собой рваные чёрные дыры в ночи. Она чувствовала, как тяжело его тело, как он хрипло дышит, но не останавливалась. В лесу, в брошенной деревне, они нашли укрытие. Анна осторожно уложила его на старую солому. Во дворе стояла бочка с дождевой водой, Анна принесла в лохани немного воды, затем смочила тряпицу и приложила ее к его ране.

— Ты будешь жить, сказала она шепотом.

Михаил, лежавший на соломе, смотрел на Анну своими глубокими, пронзительными глазами. Он видел в ней не только спасительницу, но и женщину. Он вдруг почувствовал, что она ему нравится, и он понимал, что обязан ей своей жизнью. Боль была нестерпимой, и Михаил потерял сознание, от нее же он пришёл в себя. Она была везде — жгла, резала, давила. Каза-

лось, что сам воздух давит на рану, что каждая клетка его тела стонет от муки. Он попробовал двинуться, но в глазах потемнело, в боку сдавило, и он снова упал в забытё. Анна сидела рядом, прижимая к его боку кусок разорванной ткани, пропитанный кровью. Лес окружал их со всех сторон, тёмный, холодный. Над головой шумели деревья, вокруг потрескивали ночные звуки.

— Михаил... — шептала она, глядя на его побледневшее лицо.

Он снова терял сознание, то открывал глаза, хрипло дышал. Жар поднимался волнами, губы пересохли. Анна знала — если его не доставить к своим, он не выживет. Но идти было некуда. Партизаны разбиты, усташи прочёсывают лес. Они одни. Остаться в деревне было не безопасно, необходимо было пробираться к своим. Когда сумерки спустились на вершины деревьев, Анна взвалила его на себя, тихо застонала от напряжения. Она не думала, что сможет его поднять, но её тело подчинялось лишь одному желанию — спасти. Маленькими шажками, придерживая его, она двинулась в лес. Ночь была длинной. Анна спотыкалась о корни, падала, снова поднималась. Михаил иногда стонал, бредил. Он говорил о Милене.

— Милена... Милена...

Анна закрыла глаза. Искра боли скользнула по сердцу. Но сейчас это не имело значения. Они шли, пока силы окончательно не покинули её. Тогда Анна нашла яму, заваленную ветками, укрыла Михаила, легла рядом, накрыв его своим телом от холода. На рассвете она услышала шум. Далеко, но всё же... Шаги. Металлический лязг. Собачий лай. Усташи. Сердце ухнуло вниз. Анна закрыла Михаилу рот рукой, чтобы он не застонал. Лёгкие сжимались от страха. Она стиснула нож, единственное оружие, которое осталось. Шаги приближались. «Господи, только бы мимо». Ветки зашуршали, чьи-то ботинки замерли в нескольких шагах. Она почти слышала дыхание.

— Hier gibt es nichts, weiter! — раздался голос. Шаги удалились. Анна сидела неподвижно ещё несколько минут, потом склонилась к Михаилу.

— Живи, слышишь? Живи, ради меня.

На третий день пути Михаил открыл глаза осознанно. Он смотрел на неё, не бредил, не метался.

— Где... мы?

— В лесу. Идём к своим.

К партизанам?

— Да.

Михаил прикрыл глаза.

— Прости меня, Анна. Я обуза.

Она больно сжала его руку.

— Замолчи.

Он посмотрел на неё. В этом взгляде было многое: боль, стыд, благодарность и нежность. Анна отвела глаза.

— Скоро будем на месте.

Ночь была беззвёздной, лес пах сыростью и опавшими листьями. Анна с трудом поддерживала Михаила, стараясь идти как можно тише. Он был тяжелее, чем казался, его раненое тело обмякало, но он упрямо двигался вперёд, хотя время от времени спотыкался, и тогда Анна слышала его сдавленный стон.

— Держись, ещё немного, — шептала она.

Он только кивнул, внезапно что-то мелькнуло среди деревьев. Анна резко остановилась, сердце заколотилось. Лес молчал, но ощущение чужого присутствия было слишком явным. Они остановились, прижались к дереву. Где-то в кустах раздалось глухое щёлканье затвора. Из темноты, словно растворяясь в воздухе, вышли трое. У каждого в руках было оружие, лица скрывали тени.

— Вы окружены, — тихо сказал один из них. Голос был ровным, уверенным. Анна крепче сжала руку Михаила.

— Мы свои, — твёрдо сказала она. — Михаил ранен. Мы идём к партизанам.

Наступила пауза. Кто-то щёлкнул зажигалкой, короткая вспышка осветила смуглое, усталое лицо одного из разведчиков.

— Кто он? — спросил партизан.

— Михаил Савич, — ответил Анна.

Мужчины переглянулись.

— Тот самый? Которого ищут усташы?

— Да, — ответил Михаил, голос его звучал хрипло.

Разведчик молча кивнул остальным. Они двинулись дальше, теперь уже под охраной. Разведчики двигались почти бесшумно, разрывая влажные ветки руками, выбирая пути, где не хрустели сучья.

— Долго ещё? — спросил Михаил, скривившись от боли.

— Нет, скоро выйдем, — ответил один из бойцов.

Анна посмотрела на Михаила: он был бледен, губы его сжались, на лбу выступил пот.

— Он не дойдёт, — тревожно сказала она.

Разведчики переглянулись. Один из них шагнул вперёд, обхватил Михаила за плечо, помогая идти.

— Держись, друг. В госпиталь тебя доведём.

Анна выдохнула. Теперь они были в безопасности. Лес тянулся бесконечно. Михаилу казалось, что время замедлилось, что они идут уже не часы, а дни, пробираясь сквозь чащу, преодолевая ручьи и овраги. Иногда разведчики, сопровождавшие их, резко замирали, прислушиваясь, и тогда сердце Михаила сжималось — вдруг усташы снова где-то рядом? Но всё обходилось. Наконец, в предрассветном тумане, среди сосен показались огни. Михаил прищурился, пытаясь рассмотреть впереди очертания землянки, фигуры людей.

— Лагерь, — сказал один из разведчиков. — Почти пришли.

Приблизившись, они увидели караульных, стоявших с оружием наготове. Их встретил суровый командир, коротко перекинулся парой слов с разведчиками, затем взглянул на Михаила.

— Он ранен, — сказала Анна, бросая быстрый взгляд на командира.

— В госпиталь его, — кивнул тот.

Двое бойцов подхватили Михаила под руки и повели к длинной, крытой брезентом землянке. Тёплый, сухой воздух пропах йодом, хлоркой и застарелой кровью. Вдоль стен стояли узкие койки, занятые ранеными. Михаила уложили на одну из них, и почти сразу к нему подошла девушка в заношенном халате — военный медик.

— Живой? — коротко спросила она.

Михаил хрипло засмеялся.

— Пока да.

Посмотрим, что можно сделать, — сказала медсестра и принялась осторожно развязывать повязку на его плече. Боль обожгла, Михаил зашипел, но сдержался. Анна стояла рядом, тревожно следя за ним.

— Вам тут повезло, товарищ, — сказала девушка. — Пуля не задела кость. Загноилось, но мы это исправим.

— Спасибо, сестрица, — кивнул Михаил.

Он чувствовал, как его веки тяжелеют. Голова кружилась, но он знал — теперь он в безопасности. Анна присела рядом.

— Всё будет хорошо, — тихо сказала она.

Михаил взглянул на неё.

— Ты ведь тоже устала...

Анна только улыбнулась и покачала головой.

— Я рядом. Отдыхай.

Он закрыл глаза. Михаил чувствовал себя лучше, но силы возвращались медленно. Он уже мог сидеть, подниматься, даже немного ходить по палатке госпиталя, но стоило ему сделать лишний шаг — и слабость наваливалась снова, голова кружилась, мир плыл перед глазами. Анна почти не отходила от него. Она ухаживала за ним, приносила еду, меняла повязки. Михаил знал: если бы не она, он бы не выжил. Однажды утром он, как всегда, сидел у входа в госпитальную палатку, наблюдая за лагерем. Жизнь здесь кипела: бойцы возвращались с задания, связные обсуждали что-то у штабной землянки, где-то вдаль стреляли на учениях. Михаил уже начинал привыкать к этому новому ритму, когда вдруг заметил, как к штабу подъехал военный джип. Из машины вышел мужчина в новенькой форме партизанского офицера. Шаг его был твёрдым, взгляд уверенным. В нём было что-то знакомое, но Михаил не сразу понял, кто это. Он прищурился, напряг зрение — и вдруг в его сердце что-то екнуло.

— Драган? — едва слышно выдохнул он.

Ещё вчера он бы не поверил, что когда-нибудь увидит его вот так: среди партизан, в чистой форме, с горделивой осанкой. Но это был он — Драган. Михаил хотел позвать его, окликнуть, но в горле пересохло, да и Драган уже исчез в землянке штаба. Михаил ждал. Минуты тянулись долго, превращаясь в часы. Он следил за землянкой, надеясь, что вот-вот Драган выйдет, и тогда он сможет окликнуть его, поговорить, понять, что произошло за эти месяцы. Но Драган не выходил.

— Ты что-то увидел? — раздался голос Анны.

Михаил вздрогнул, не заметив, как она подошла.

— Там... Драган, — ответил он, не отрывая взгляда от штабной землянки. — Мой лучший друг, он здесь.

Анна прищурилась, глядя в ту же сторону.

— Драган? — переспросила она. — Где?

— В штабе.

Анна нахмурилась.

— Ты уверен?

— Абсолютно. Я его узнал.

Время шло. Михаил ждал, но Драган не выходил. Когда пришли санитары и увели Михаила на перевязку, Анна осталась у входа. И именно в этот момент она увидела Драгана. Он вышел из штаба быстро, будто боялся, что его кто-то задержит. Лицо его было жёстким, холодным. Анна замерла. Драган стремительно сел в джип, дал команду водителю, и машина рванула с места, оставляя за собой пыльную дорогу. Анна долго смотрела вслед исчезающему автомобилю. В её душе закипало странное, тревожное чувство.

ДРАГАН

Драган с лёгкостью привык к новой жизни. Его язык, ловкость и врождённое чутьё на опасность сделали его незаменимым для немцев. Он водил их колонны по тайным тропам, которые не знал ни один чужак, предупреждал об засадах, которых сам бы сторонился, слушал разговоры в деревнях и пересказывал их немцам, не меняя интонации, словно это были лишь пустые слова.

— Этим путём идти нельзя, — однажды сказал он лейтенанту, высокому, светловолосому, с тонким лицом. — За ручьём, за перевалом партизаны оставляют людей в засаде. Если дадите мне двух солдат, проведу вас безопасной дорогой. Лейтенант взглянул на него с интересом.

— Откуда ты знаешь?

Драган не ответил. Он знал, что такие вопросы задают один раз. Если ответ прозвучит неубедительно, второй раз спрашивать не станут — просто пустят пулю в затылок.

— Хорошо, — сказал лейтенант. — Веди.

Ночью, когда они тихо прошли через рощу, обошли ложбину и оказались за линией партизанских постов, лейтенант снова посмотрел на него и медленно кивнул.

— Ты полезен.

С тех пор немцы стали ему доверять. Они приносили ему еду, позволяли заходить в штаб, иногда даже предлагали сигареты. Драган не курил, но брал — он знал, что отказываться не стоит. В каждом движении, в каждом взгляде он чувствовал их уважение, холодное и расчётливое. Они не считали его равным, но уже не видели в нём простого проводника.

— Ты хорошо себя показал, Драган, — сказал майор Краузе, подняв на него ледяные глаза. — Надёжен, дисциплинирован, храбр. Командование приняло решение. Ты отправишься в Коньнице.

Драган, ссутулившись, стоял перед столом офицера. Он кивнул, но не заговорил сразу.

— В Коньнице?

— Разведшкола. Тебе не нужно объяснять, зачем, — Краузе взял в руки перо и быстро начертил что-то в папке. — Учиться будешь под именем Зорко Данич.

— Что именно будут... преподавать?

Майор усмехнулся.

— Всё, что делает из человека оружие.

Он поднялся, обошёл стол и положил руку Драгану на плечо.

— Я ценю твою работу. В нашей службе у тебя есть будущее. Но ты должен быть готов идти до конца.

— Я готов, — ответил Драган.

— Хорошо, — Краузе убрал руку и снова сел. — Завтра отправишься.

Утро в Коньнице было серым, промозглым. Туман плыл над горами, сливался с землёй. В таких туманах исчезали те, кто не справлялся с учёбой. Инструкторы не говорили лишнего.

— Нож — продолжение твоей руки, — говорил лейтенант Ремке, проходя между курсантами. — Но рука должна быть твёрдой. Кто не может убить молча, тот не нужен.

Драган сжимал холодную рукоять, чувствуя, как сталь становится частью ладони. Он знал: завтра этот нож будет вонзаться в ткань, в мякоть, в горло. По ночам он не спал. В соседних комнатах кто-то молча рыдал, кто-то повторял вслух псевдоним, который теперь был его новой жизнью.

— Зорко Данич, — шептал Драган, глядя в темноту.

В ту ночь, когда их осталось шестеро, никто не знал, что случится утром. Инструкторы вывели их во двор, расставили у стены.

— Сегодня вы докажете, что достойны, — сказал Ремке, пожевывая сигарету.
Вперёд вывели связанного человека.

— Это предатель. Выбор за вами.

Драган смотрел на человека перед собой. Дрожащий рот, стиснутые веки, грязная рубаха. Кто-то за его спиной сдавленно выдохнул.

— Что, проблемы? — усмехнулся Ремке.

— Нет, — ответил Драган и шагнул вперёд.

Нож лёг в руку, как влитой. Через секунду всё было кончено. Вечером их собрали в кабинете начальника школы.

— Теперь вы псы рейха, — сказал он. — Ваши цели ждут вас.

Драган слушал. Он знал: назад пути нет. Шесть теней. Шесть призраков, выпущенных из чрева разведшколы в Коньнице. Драган был одной из них, Зорко Данич - его новое лицо, выкованное в пламени жестоких тренировок. Их готовили для одного – смерти. Смерти командиров партизан. Первым делом на его пути был отряд четников Дража Михайловича, оставив за собой кровавый след, он оказался в отряде Кочи Поповича. Но там, среди дисциплинированных и хорошо вооруженных партизан, охраняемых советскими инструкторами, он понял – убить Кочу, это самоубийство. Он ждал. Ждал момента, когда судьба подкинет ему карту, которую он сможет разыграть. И судьба не заставила себя ждать. Из обрывка разговора двух партизан он узнал о готовящемся налете на разведшколу в Коньнице. Его школу. Драган понял – это его шанс. Но как объяснить свое рвение? Как убедить командиров, что он не просто хочет "живого дела"? Он знал, что его подозревают, что его прошлое – темная тень, тянущаяся за ним. «Я хочу участвовать в налете», — сказал он командиру взвода, глядя ему прямо в глаза. — Я не хочу сидеть на базе, пока другие рискуют. Командир взвода, человек с пронизательным взглядом и морщинами от прожитых лет, изучал Драгана. Он видел в нем что-то, что не мог понять, что-то, что заставляло его насторожиться.

—

«Пусть идет, — наконец сказал он, — Проверим в бою».

Драган крался вдоль стены, прислушиваясь к отдалённым крикам и командам. Он знал: его цель — архив, где хранилось его личное дело с фотографией. Когда раздался первый взрыв, Драган, будто тень, скользнул внутрь здания. В коридорах хаос переплетался с яростными криками: кого-то уже добивали в соседних комнатах. Он не терял времени: зная немецкую пунктуальность, бросился к нужному шкафу, мгновенно отпер его и выхватил папку. Листая документы дрожащими пальцами, он увидел свою фотографию — чёрно-белый отпечаток прошлого, который мог его погубить. Он сунул папку под куртку и, развернувшись, столкнулся взглядом с двумя людьми. Те тоже прорвались сюда за своими делами. Их глаза расширились от узнавания, но было поздно — два коротких удара ножом, и их тела осели на пыльный пол. Запах крови пробудил что-то тёмное в нём. Драган знал, что времени мало. Он схватил ближайший мешок, опрокинул из него картошку и быстрыми движениями наполнил делами других курсантов. Кто-то в панике метался по коридору, выкрикивая приказания, кто-то стрелял в темноту, надеясь попасть в тень. Драган крался дальше, сжимая мешок с бумагами, когда в окне мелькнула фигура начальника школы. Немец бросился к машине — возможно, чтобы увезти последние ценности или передать донесение. Драган замер на секунду, затем метнулся к стене, вытащил гранату и метнул её в направлении автомобиля. Вспышка озарила пространство, раздался грохот, и машина загорелась. В этом свете Драган увидел, как один из раненых курсантов тянет руку к пистолету. Он не дал ему шанса — короткий выстрел, и тот затих. Обратного пути не было. Прижав мешок к спине, Драган выбежал из горящего здания и растворился в тени леса. Он добрался до партизан, участвовавших в операции, присоединился к ним, тяжело дыша. Когда они увидели его с мешком на спине, кто-то рассмеялся:

— Что, провиант тащишь? — ухмыльнулся один из бойцов.

Драган не ответил. Он шагнул вперёд, бросил мешок на землю и холодно произнёс:
— Здесь личные дела курсантов. Среди них есть те, кто скрывается в ваших рядах.

Командир партизан нахмурился, присел и развязал мешок. Листки бумаги, пожелтевшие от огня, послушно выпали на землю. В воздухе повисла тишина. Драган чувствовал на себе взгляды — напряжённые, настороженные. Ему поверят или нет? Вопрос оставался открытым. Но одно он знал точно — в этом мире доверять нельзя никому. Драган сидел в холодной землянке, ощущая влажный запах перегнившей листвы, сырой земли и дыма, что тянулся сквозь щели в потолке. Он внимательно изучал лицо человека напротив — майора Йовича, командира соединения, которого он должен был устранить. — Нам нужен смелый человек, который проведёт разведку перед операцией, — говорил Йовичч, глядя на него с прищуром. — Ты знаешь местность лучше других. Драган молчал. Он и правда знал местность — знал каждую тропу, каждый холм, каждую заброшенную хижину, где можно было спрятаться или устроить засаду. Немцы его этому обучили. Немцы ждали его сигнала. Но теперь он уже не был так уверен. За несколько месяцев в партизанском лагере он видел слишком многое. Он видел, как раненых вытаскивали из-под обстрела, как женщины таскали на себе тяжеленные ящики с патронами, как полуголодные солдаты делили последний кусок хлеба. Они не были безликими террористами, как ему рассказывали немцы. Они были живыми. И теперь, по ночам, он уже не мог спать так спокойно, как раньше. Ночь была темна, как чернила, и лишь слабый свет костров выхватывал из мрака фигуры партизан. Драган стоял в стороне, наблюдая за ними, как хищник, затаившийся в кустах. В его кармане лежал крошечный передатчик. Если он нажмёт кнопку, немецкий отряд узнает точное расположение штаба. Через несколько часов сюда посыплются мины, загрохочут пулемёты, а лагерь превратится в пылающий хаос. Он знал, что Йович спит в землянке в десяти шагах отсюда. Мог бы пробраться туда, сделать своё дело и исчезнуть. Партизаны доверяли ему. Он видел, как они смеялись над его шутками, как хлопали по плечу, как делились махоркой. Они приняли его, и он начал верить, что может быть одним из них. Но, с другой стороны, если он предаст немцев, то они не простят. Они найдут его. Они убьют его — быстро или медленно, но обязательно убьют. Он чувствовал себя загнанным в угол, как крыса в клетке.

— Не спится? — голос вывел его из раздумий.

Он вздрогнул. Перед ним стоял Йович — тот самый человек, которого он должен был убить. Лицо у него было усталое, но взгляд цепкий.

— Думаю, — коротко ответил Драган.

— О чём же?

— О войне.

Йович усмехнулся и сел рядом.

— Дурацкое время. Когда всё закончится, мы сможем наконец спросить себя: кто мы такие?

Эти слова больно резанули Драгана. Он тоже хотел знать. Кто он? Агент, убийца, предатель? Или человек, которому дан шанс всё изменить? Он глубоко вздохнул, медленно вынул из кармана портсигар в котором был скрыт передатчик и... Драган не решался, он тупо смотрел в землю

— Ты что-то потерял? — спросил Йович, пристально глядя на его руку.

Драган замер. Сердце бешено колотилось. В этот момент он понял, что выбора больше нет.

МИЛЕНА

Радована нашли на следующий день, деньги остались в кармане некоторые окровавленные купюры лежали рядом в траве. Радован лежал на спине, раскинув руки, как будто даже после смерти пытался о чём-то спорить, кого-то заставить подчиниться его воле. Его рубаша, пропитанная кровью, распахнулась. Лицо его было застывшим, глаза остались открыты, уставившись в небо, но в этом взгляде не было ни упрёка, ни страха, ни боли — только пустота.

Милена стояла неподалёку, скрестив руки на груди. Она думала, что будет чувствовать облегчение, когда его не станет. Но сейчас, глядя на безжизненное тело, понимала, что внутри у неё лишь глухая, непонятная боль. Не из-за него — из-за чего-то большего. Изза того, что кровь всё ещё тёплая, что он ещё вчера вечером мог кому-то угрожать, кого-то проклинать, а теперь...

Она шагнула ближе, опустилась на колени и осторожно коснулась холодной руки. Заплакала. Но не так, как плачут по родным, которых любят, а как плачут по неизбежности.

И тут её взгляд упал на грудь мёртвого.

— Нет... — выдохнула она.

Крест исчез.

Крест, который никогда не снимался, который Радован носил на грубом кожаном шнурке всю жизнь. Милена в страхе осмотрелась, провела ладонью по пропитанной кровью ткани. Пусто.

Она резко встала и, не говоря ни слова, кивнула Анте.

Анте не сразу понял её жест, но потом заметил: креста нет. Он побагровел, резко сжал кулаки, из горла вырвался короткий рык.

— Лука, — прошипел он. — Лука, сволочь!

Дома, закрыв ставни, Милена налила себе вина, но не пила — просто смотрела, как янтарная жидкость колыхнется в стакане.

Анте смотрел на Милену, не мигая, словно она сейчас приоткроет дверь в другой мир. Она на мгновение закрыла глаза, будто пытаясь вспомнить что-то далёкое, затёртое временем.

— Этот крест, — начала она, — пережил века. Он больше, чем просто кусок серебра. Он больше, чем символ веры. Это...

Она замолчала, подбирая слова.

— Это ключ.

— Ключ? К чему? — Анте вскинул голову.

— К могуществу, — ответила Милена. — Но я начну с начала. Она сделала глубокий вдох и, не глядя на Анте, начала рассказывать.

— Крест этот... он старше, чем ты можешь себе представить. Его история начинается не с моего отца. Даже не с его отца. Он тянется в глубину веков.

Она перевела дух.

— Этот крест переходил из рук в руки: его носил сербский князь Лазарь перед Косовской битвой. Позже он попал к австрийскому генералу, который привёз его в Вену, но вскоре покончил с собой. В конце XIX века некий охотник за реликвиями нашёл его в развалинах монастыря и продал местному богачу.

Так крест оказался у семьи Радована.

— Мой дед рассказывал, — продолжала Милена, — что в 1918 году, после падения Австро-Венгрии, в деревню пришёл человек. Его звали отец Вукола. Он был священником, но, говорят, знал много того, что знать не следовало. У него был этот крест. И он сказал деду, что крест выбирает своего хозяина.

— Выбирает? — Анте нахмурился.

Милена кивнула.

— Да. Он сказал, что этот крест может даровать силу, но может и уничтожить. Его нельзя просто носить — он проникает в кровь, в разум. Он влияет на человека.

— И дед его взял?

— Конечно. Он был упрям, жаден до власти, до денег. Он знал, что крест стоит больше, чем любое золото, но не понимал его сути. Кроме всего на этом кресте была выгравирована карта расположения клада. Старые надписи, символы, которые никто не мог расшифровать. Анте медленно выдохнул.

— И теперь он у Луки.

Милена молча кивнула.

— Лука не просто убил Радована. Он знал, что делает. Он искал этот крест давно. И если он разгадает его тайну, никто его не остановит. Анте сжал кулаки.

— Значит, его нужно остановить первым.

Где-то за окном завыл ветер. Тени метнулись по стенам. Анте вошёл в комендатуру. За широким дубовым столом сидел Лука, развалившись в кресле, пуская кольца дыма из сигареты. В окне за его спиной мерцал свет ночных фонарей. Как только Анте переступил порог, Лука бросил на него злой, колющий взгляд.

— Чего тебе?! — выкрикнул Лука, не дав Анте и слова сказать.

Анте скрипнул зубами. Он ожидал другого.

— Ты убил Радована! — парировал он, сделав шаг вперёд. — И украл крест!

Лука прищурился.

— Что ты несёшь?

— Не прикидывайся, — прошипел Анте. — Деньги остались при нём, а креста нет.

Только тебе был нужен этот крест.

Лука вскочил из-за стола.

— Я не собираюсь слушать бред!

Они сблизилась, их лица оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. Лука пах дешёвым табаком и перегаром. В следующую секунду Анте схватил его за ворот кителя и с силой бросил на стол. Бумаги разлетелись, пепельница опрокинулась, растекаясь серым прахом. Лука, пытаясь отбиться, схватился за кобуру, но Анте оказался быстрее — дуло пистолета упёрлось ему в подбородок.

— Где крест?

Лука с минуту смотрел в холодные глаза Анте, потом криво усмехнулся.

— Он в тайнике. Если хочешь — пойдём, заберём.

— Вперёд, — Анте дёрнул его на ноги и подтолкнул к выходу.

Анте шёл по улице, сжимая пистолет в кармане, толкая Луку вперёд. Они шагали быстро, почти бегом, по пустынным улочкам города, приглушённый свет фонарей отбрасывал длинные тени. Лука не сопротивлялся. Он только раз обернулся, но Анте грубо толкнул его.

— Идём, — процедил он.

Они свернули к старому зданию школы. Массивная дубовая дверь поддавалась с лёгким скрипом. Лука оглянулся ещё раз — в переулке было пусто.

— Где тайник? — спросил Анте.

— В учительской. За сейфом.

Анте включил зажигалку, слабое пламя осветило меловые надписи на доске и ряды пустых парт. Запах пыли и старой бумаги висел в воздухе. Они прошли в учительскую.

— Открывай.

Лука наклонился, присел на колени, нащупывая код на циферблате. Щелчок, сейф открылся. В тот же миг Лука резко встал и толкнул Анте, пламя зажигалки колыхнулось и

погасло. Комната погрузилась во тьму. Анте не успел среагировать — холодный клинок вонзился ему в живот. Боль сковала его, он выронил пистолет. Лука ударил ещё раз, потом ещё. Анте захрипел, пытаясь ухватить убийцу за руку, но нож вошёл глубже, застрял между рёбер.

— Слишком долго ты был уверен в себе, Анте, — прошипел Лука, вытирая руку о его китель.

Анте рухнул на пол, судорожно хватая ртом воздух. Лука нагнулся, нащупал пистолет, убрал его в карман. Потом быстро вытер ручку сейфа и дверную ручку платком, окинул взглядом помещение. Всё чисто. Он тихо вышел в ночь, растворившись в переулках города.

МИЛАН

Зоран и Милан покинули деревню на рассвете. Долина ещё дремала в холодном утреннем воздухе, между скал вился туман, пряча за собой тропу, по которой они шагали, не говоря ни слова. Железнодорожной станции в их горной деревне не было, поэтому им пришлось спускаться в городок, расположенный у подножия хребта. Дорога была непростой: узкая, извилистая, местами размытая ночным дождём. Они шли молча, каждый погружённый в свои мысли. Милан несколько раз останавливался, оглядываясь назад, будто пытаясь запомнить родные места в последнюю минуту. Добравшись до городка, они вышли на главную улицу, где уже начиналась утренняя суета. Рыночные лавки раскрывались, торговцы выкладывали товар, а у пекарни стояли первые покупатели за свежим хлебом. Город казался живым, но чужим. На вокзал они пришли за несколько минут до прибытия поезда. Гул локомотива огласил станцию, и через мгновение состав мягко остановился у платформы. Бросив последний взгляд на городок, Зоран и Милан вошли в вагон. Поезд тронулся, за окнами поплыли поля, холмы, редкие деревушки. Они смотрели, как исчезает привычный мир, уступая место неизведанному.

— Думаешь, в Загребе нас ждут? — вдруг спросил Милан, нервно постукивая пальцами по колену.

— Не знаю. Но назад дороги нет, — ответил Зоран, не отрывая взгляда от окна.

Когда поезд въехал в Загреб, солнце уже стояло высоко. Город встретил их шумными улицами, запахами кофе и свежего хлеба, спешащими людьми. Они переглянулись — их новая жизнь начиналась здесь. Город не принял их сразу. Загреб встретил запахом пыли и прогретого камня, сквозняками на вокзале, где пахло чужими судьбами, и старыми трамваями, гремяще несущими людей куда-то в будущее. В общежитии, куда их поселили на время вступительных экзаменов, пахло дешёвыми сигаретами, залежалой бумагой и лёгким, ни с чем не сравнимым напряжением людей, готовых вот-вот переступить свою судьбу. Первым, кого они встретили в коридоре, был Роберт Фуца. Вот уж кого не ждали. В школе они не дружили. Вражда? Да какая вражда — скорее, вечное подначивание, борьба за первенство, смешные поединки, которые в семнадцать кажутся вопросом жизни и смерти. А тут — свой. Свой! И радость от этого была странной, почти детской. Экзамены прошли как один вымотанный день. Слова на листах заплывали, пальцы цеплялись за стол, в аудитории пахло мелом и пугливыми надеждами. Они выходили с экзаменов в полубреду, бродили по улицам, щупая старый город кончиками пальцев, замирали на мостах, глядя в реку, как в чужую судьбу. А потом были списки. Трепет секунд перед тем, как глаза находят знакомые фамилии. Милан и Зоран вцепились в них жадно, будто боялись, что буквы сейчас спросят: «А вы кто такие?» Но фамилии были на месте. Милан — журналистика, Зоран — экономика. Город, кажется, наконец-то принял их. Сентябрь встретил их горячей водой и комфортом общежития «Младост», лучшего в университете. Зоран и Милан, привыкшие к скрипу половиц и звуку ветра за тонкими окнами, теперь жили в почти роскошных условиях: своя комната, свой душ, даже чистые шторы на окнах. Первые дни они ходили по коридорам, словно туристы в пятизвездочном отеле, не веря, что это — их дом. Учёба с самого начала была тяжёлой, особенно для Милана, который поставил себе задачу — быть не просто студентом, а лучшим. Он впитывал знания с какой-то почти физической жадностью, ночами сидел в библиотеке, записывал каждую мысль профессоров, ловил их на переменах, дослушивал лекции в коридорах. Денег катастрофически не хватало, и потому, едва освоившись, он устроился работать в университетскую библиотеку. Зарплата была смешная, но давала главное — доступ к книгам и время на учёбу. И вот однажды он заметил странную вещь. Английский язык, который прежде казался ему нагромождением хаотичных букв, вдруг стал складываться в осмысленные предложения. Он сам не понимал, как это происходит: читал газеты, журналы, что-то выписывал, сверялся со словарём. А потом словарь стал не

нужен. Слова запоминались сами, будто кто-то незримый раскладывал их в его голове, аккуратно, как книги на библиотечных полках. К концу первого курса он уже свободно читал по-английски. На лекциях переводил друзьям сложные статьи, в библиотеке мог объяснить иностранному профессору, как найти нужную книгу. И это было похоже на чудо. На что-то, к чему его вело ещё с детства, но что открылось ему только сейчас, в шумном, полном солнечного света Загребе. К концу второго курса, когда его однокурсники всё ещё разбирались с грамматическими конструкциями, Милан уже входил в двери редакции «Телеграма» как свой. Здесь пахло типографской краской, свежими новостями и кофе, который бессменно варила пожилая секретарша редактора. Его определили в архив — разбирать старые подшивки, сортировать письма, отыскивать в пожелтевших страницах то, что могло бы ещё пригодиться. Казалось бы, работа монотонная, но даже здесь он ухитрился проявить себя. Две его короткие заметки о студенческой жизни неожиданно приняли в номер, и Милан, впервые увидев своё имя на газетной полосе, испытал странное, почти физическое ощущение — словно он открыл дверь, за которой всегда хотел оказаться. Но работа отнимала слишком много времени. Ночи он проводил, перетряхивая пыльные папки, а утром, слипшимися от усталости глазами, читал лекции. Учёба уходила на второй план, и эта мысль не давала ему покоя. Он уже собирался уйти, поставить точку на этой истории с журналистикой, вернуться к книгам, как вдруг... В тот вечер он разобрал стопку старых фолиантов, предназначенных для реставрации или списания. Под его пальцами попала плотная обложка, потрёпанная, но ещё крепкая. Кожа была почерневшей от времени, а на корешке едва различались выцветшие золотые буквы. Стоило раскрыть фолиант, как из-за пожелтевших страниц потянуло пылью древности, старым воском и чем-то странно родным. На титульном листе, покрытом тонкими трещинами, простыми латинскими буквами было выбито: *"Memoria Ultimorum Custodum"* — "Память последних хранителей". В правом верхнем углу стоял полустёртый штамп старой библиотеки: *"Bibliotheca Sancti Michaelis"*, и ниже — потемневшая сургучная печать, потрескавшаяся, но всё ещё сохранявшая очертания герба — меч и ключ, скрещённые под щитом. Перелистывая пожелтевшие страницы, он заметил на полях странные пометки. Чёрные чернила, выцветшие до серого, выписывали отдельные слова на латинском и старофранцузском:

— *"non omnes revelari debent"* ("не всё должно быть раскрыто"), — *"sub terra, iuxta fontes"* ("под землёй, возле источников"), — *"signum lapidis fracti"* ("знак расколотого камня").

Некоторые записи были зачёркнуты спешной рукой, а рядом с особенно затёртыми строками стояли крошечные крестики — словно кто-то пытался выстроить невидимую цепочку. На одном из листов взгляд зацепился за фразу, выделенную крупными буквами:

"Qui crucem portavit, viam scivit." ("Тот, кто нёс крест, знал дорогу.")

Эти слова были заключены в грубую рамку, нацарапанную на полях, и внизу стояла короткая приписка на французском: *"Cherche la pierre sous la source."* — *"Ищи камень под источником."* В одном из нижних углов страницы, почти на самом краю, он заметил едва различимую строку, сделанную другим почерком — более грубым, неровным, словно писали в спешке. Там стояло всего несколько слов на латыни: *"ubi montes et flumina conveniunt"* ("где горы встречаются с реками"). И рядом мелким шрифтом, почти незаметно: *"terra illyrica"* — "земля Иллирии". Иллирия — древнее название земель Балкан, охватывающих территорию нынешней Черногории, части Хорватии, Боснии и Сербии. Он провёл пальцами по выцветшим буквам. Слова будто сами подталкивали его: меч был увезён туда, где реки и горы переплетаются в каменных теснинах, в сердце древней Иллирии. Монастырь. Слово выплыло из прошлого, окутанное запахом ладана и восковых свечей. Оно обожгло его память, пробежалось по коже лёгким холодком. Он вспомнил те узкие коридоры, тёмные, прохладные даже летом. Голоса монахов, звучащие где-то вдалеке. Детство было давно, но этот момент — вечер у реки, звёзды, вспыхивающие в тёмном небе, медленные, неторопливые разговоры — был с ним, как будто

произошёл только вчера. Милан замер, перелистывая страницы. Примерно на середине книги взгляд наткнулся на название главы:

"De Vita et Fato Godofridi de L'Enn" — "О жизни и судьбе Годфруа де Л'Энн", одного из последних хранителей реликвий Ордена Тамплиеров. Теперь он точно знал: он не может просто так закрыть эту книгу. Не может пройти мимо. Ему нужно узнать, что скрывается за этими бумагами. Милан перелистнул страницу — и остановился. Почерк здесь был другим. Не тот аккуратный монастырский минускул, что шёл прежде, — а нечто более живое и торопливое, будто писавший боялся не успеть. Чернила местами расплылись, пергамент был тёплым на ощупь, почти кожаным. Он вчитался.

Я, брат Этьен из Клермона, пишу сие не для живых, но для тех, кто придёт после, когда нас давно не будет среди сущих. Пишу, дабы не умерло то, чему не должно умереть вместе с нами, ибо молчание есть второе предательство.

В лето Господне 1243-е, в замке Л'Энн, что стоит среди непроходимых лесов Пикардии, родился отрок, коему суждено было нести бремя, непосильное для большинства смертных. Нарекли его Годфруа — в честь Готфрида Бульонского, первого правителя Святого Иерусалима, — и уже в сём имени таилось обещание, исполнить которое суждено было кровью. Отец его, сеньор Рено де Л'Энн, был муж суровый и мрачный духом, из тех, что сражались с англичанами под знамёнами Святого Людовика и почитали войну единственным богоугодным ремеслом. Сыну своему он передал не нежность, но умение: с малых лет Годфруа учился владеть мечом и копьём, постигал латынь, и мечта у него была одна — Святая Земля, где брат стоит рядом с братом перед лицом неверных.

В год 1259-й, шестнадцати лет от роду, стал он оруженосцем у дяди своего, графа Тибо де Бриена, принявшего постриг Ордена Рыцарей Храма. Через год отплыли они в Акру. И в Палестине той встретил Годфруа то, чего не умеют описать ни книги, ни молитвы: в битве при Арсуфе видел он, как гибнут братья его, и сжигал тела павших собственными руками — ибо нельзя было дать земле неверных осквернить то, что принадлежало Господу.

В год 1265-й, когда войска султана Бейбарса пошли на тамплиеров и смерть сделалась повседневностью, подобной хлебу и воде, магистр Ордена отвёл Годфруа в катакомбы под Храмом Соломона. Там, в темноте, куда не проникал дневной свет от начала времён, показал он ему меч.

И пишу я здесь о сём оружии с великим трепетом, ибо слова человеческие скудны перед тайной, кою оно в себе несёт. Металл его был не таков, как у клинков, кованых человеческой рукой. Говорили братья — упал с небес. Называли его Клинок Архангела: по преданию, дошедшему от первых хранителей, был он осколком огненного меча самого Михаила, Воеводы Небесного воинства, способного даровать победу в битве праведной. Но несла реликвия сия и проклятие своё: всякий, кто держал её слишком долго, начинал слышать голоса — голоса войн ещё не случившихся, крови ещё не пролитой, конца, который всегда близок. Годфруа поклялся хранить меч. Какую цену ему предстояло заплатить — того он тогда ещё не ведал.

В год 1291-й пал Акр. Магистр успел сказать одно: беги. И Годфруа покинул крепость последним — сквозь огонь и крик, прижимая реликвию к телу, как мать прижимает дитя своё в час, когда рушится кров. Сначала был Кипр. Потом Италия, аббатство Сакра ди Сан Микеле в горах, где монахи умели молчать. Но в год 1307-й французский король Филипп, прозванный Красивым, начал охоту на Орден, и инквизиция пошла по следу меча, как пёс по следу крови. Годфруа ушёл снова — дальше, на восток, на Балканы, в монастырь, затерянный среди гор, где ждали его последние братья. Там, в пещерах под монастырём, укрыл он Клинок Архангела от глаз мира.

В год 1314-й в Париже на медленном огне сожгли Жака де Моле, последнего магистра. Когда весть сия достигла гор, Годфруа понял: Орден мёртв. Он спустился ещё глубже —

перенёс меч в подземелье под алтарём, в место, о коем не знал никто, кроме него самого, — и приготовился к бою последнему.

Инквизиция нашла монастырь. Они требовали выдать хранителя и реликвию. Но монахи не предали брата своего. Когда же рыцари-инквизиторы ворвались внутрь, Годфруа вышел к ним один — против нескольких десятков воинов. Он убил многих. И тогда Господь послал над монастырём густой туман, скрывший поле боя от глаз человеческих, и сие дало ему время. Но предательство всегда оказывается сильнее тумана. Удар пришёл в спину. Перед смертью успел он произнести лишь одно:

— Кто коснётся меча, неся зло в сердце своём, обречён гореть в огне вечном.

Похоронили его в тайной крипте монастыря, без имени на камне, ибо имя его и без того было записано в месте надёжнейшем. Меч остался там, где укрыв его Годфруа. Лишь знаки, вырезанные на нательном кресте его, могли указать дорогу — для тех, кто умеет читать такие письма. Я читал. И потому пишу.

Монахи сменялись, монастырь ветшал и пустел, и лишь старики рассказывали по вечерам историю о рыцаре, который никогда не спал. Но рыцарь спит. Меч — нет.

Писано мною, братом Этьеном из Клермона, в год Господень 1324-й, в немощи телесной, но в твёрдости духа. Да прочтёт сие тот, кому назначено.

Милан поднял глаза от страницы. За окном библиотеки темнело — он не заметил, когда это случилось. Руки его лежали на пергаменте, и он вдруг поймал себя на том, что чувствует под пальцами не просто старую кожу — а что-то ещё, тёплое и неотступное, как память о вещи, которую никогда не держал в руках, но почему-то знает на ощупь. Монастырь. Горы. Река. Он медленно закрыл фолиант.

На следующий день Милан показывал свою находку Зорану.

— Ты понимаешь, что это значит? — голос Милана дрожал, хотя он старался казаться спокойным.

Зоран молча смотрел на пожелтевшие страницы кодекса, вчитываясь в каждое слово, словно пытался пробить взглядом толщу веков. Его лицо вспыхивало, как у человека, внезапно осознавшего, что вся его жизнь была лишь прологом к чему-то гораздо большему.

— Меч, который выкован не из обычного металла... — Зоран выдохнул и медленно провел пальцем по старому рисунку, изображавшему клинок с выгравированными символами. — Это легенда.

— А если нет? — Милан откинулся на спинку стула, его сердце колотилось. — Если он действительно существует... и всё это время находился под нашими ногами?

Милан чувствовал себя странно. В его жилах текла кровь кузнецов — деда, отца, предков, которые поколениями работали с металлом, создавали мечи, доспехи, инструменты. Он знал, как ощущается настоящий клинок в руке. Как звучит сталь, если провести по ней пальцем. И теперь перед ним стояли строки, утверждающие, что где-то скрыт меч, выкованный из металла, упавшего с неба. Он больше не мог просто смотреть на эти записи. В нем боролись два голоса. Один шептал, что он не археолог, не искатель приключений, а обычный студент, который должен оставить всё как есть. Другой — голос, похожий на грохот молота по наковальне, — требовал найти меч. Дотронуться. Проверить. Узнать правду. Зоран, напротив, был на грани эйфории. В его голове уже складывалась картина: тайное братство, инквизиция, скрытые катакомбы. Он обожал древние загадки, но сейчас всё было реальным.

— Если мы найдём его... — начал он, но осёкся.

Они оба знали, что «если» здесь неуместно. Они найдут его. Вопрос был лишь в том, готовы ли они к тому, что произойдёт потом.

АННА

Партизаны вошли в город чуть свет, когда в переулках ещё клубился ночной туман, а крыши были мокрыми от росы. Они шли бесшумно, как волки, но сдержанно, без суеты, будто возвращались за чем-то, что и так всегда принадлежало им. Михаил двигался сдержанно, с короткими остановками, как и положено человеку раненому, но который не позволит себе шагать медленнее других. Анна — напротив — будто чувствовала в крови металл: двигалась резко, точно, без колебаний, то и дело останавливаясь, прислушиваясь, оглядываясь. Пулемёт затрещал неожиданно, где-то из верхних этажей серого, закопчённого дома. Михаил отпрянул к стене, Анна пригнулась. Где-то справа уже стукнуло несколько выстрелов в ответ, и пулемёт смолк, растворился в тишине, будто его и не было.

— Сволочи, — пробормотал кто-то из партизан, скользя вдоль стены.

Они двигались дальше. Разбитые витрины магазинов отражали их искажённые силуэты, светлые окна квартир зияли пустыми глазницами. По тротуарам были разбросаны листовки, битые бутылки, чьи-то сапоги. Вдалеке ещё доносился редкий стук сапог по мостовой — последние усташа, утратив всякое подобие дисциплины, шарахались врассыпную, бросая винтовки в сточные канавы. Но не все успели сбежать. Когда очередь прошла окна комендатуры, город окончательно проснулся. Захлопали двери, заголосили бабки, кто-то бросился бежать, но тут же скуля упал на колени — пуля зацепила. Грохот боя длился всего несколько минут, но они были насыщены страхом и злостью. В одном из окон мелькнуло чьё-то лицо — и тут же стекло разлетелось, а фигура рухнула внутрь, как обломанная марионетка.

— Граната! — крикнули из-за угла.

Глухой взрыв разнёс дверь в ключья, и тяжёлая дубовая створка со скрипом завалилась внутрь. В прихожей уже не было живых — пыль от обрушенной штукатурки оседала на тела. В глубине здания кто-то ещё отчаянно пытался подпереть шкафами коридор, но было поздно. Партизаны, дыша часто, бросились внутрь, распахивая двери, выбивая ногами остатки заграждений. Михаил отстал, а Анна с группой партизан продолжила продвигаться вперед. Школа — старая, обугленная, с тёмными пятнами на стенах — притихла в центре площади. Анна шагнула внутрь первой двигаясь быстро, но осторожно. В школе пахло затхлостью, пылью и чем-то ещё — слабым привкусом гари, проскользнувшим сквозь щели в окнах. Тишина здесь была другой, не такой, как на улице. Там город жил, трепетал, приходил в себя. Здесь же застывший воздух хранил чужие шаги, голоса, выстрелы. Она прошла мимо рядов пустых парт, заглядывая в классы. Шторы кое-где были сорваны, на полу валялись бумаги, будто кто-то торопливо рылся в шкафах, выискивая что-то ценное. Но школу явно покинули в спешке. Учительская была в конце коридора. Дверь приоткрыта. Анна толкнула её носком сапога и вошла, держа оружие наготове. И тут же увидела его. Анте лежал на полу, нелепо раскинув руки, как кукла, у которой перерезали нити. Его тёмная рубашка пропиталась кровью, но след всё ещё был свежий, алый, не успевший потемнеть. В груди торчал нож.

Анна опустилась на колено. Тихо, бесшумно. Взяла нож за рукоять и, с силой вытянув, ощутила, как металл поддался с влажным хлюпающим звуком. Кровь выступила из раны, но уже не спешила вытекать — сердце давно замерло. Она осмотрела нож. Лезвие тяжёлое, чуть длиннее ладони, заточено идеально, как у охотничьего. Но её взгляд сразу приковала рукоять — необычная, искусно вырезанная из дерева. Женская фигура, тонко проработанная, с плавными линиями, с чуть склонённой головой. Лёгкий изгиб талии, складки одежды, пальцы, вытянутые вдоль тела. Анна нахмурилась. Это не обычный боевой нож. Такой не покупают наспех, не хватают в спешке. Его носят с собой, берегут, держат при себе как нечто личное. И вдруг она увидела. На лезвии, было выведено слово.

"Милена". Анна перевела дыхание и сжала рукоять крепче. Она успела спрятать нож, когда в учительскую вошли партизаны и Михаил.

— Кто это? — спросил Михаил

— Это Анте, командир разведки усташей, — хмуро сказал кто-то из партизан.

— Он самый, муж Милены, — буркнул Михаил, нагибаясь, чтобы осмотреть тело.

Вдруг он спохватился и встал. Анна смотрела на Михаила, и он уже знал, что она думает. Сам думал то же самое.

— Нам надо ехать. Сейчас же.

— Конечно, — коротко ответила Анна.

Времени не было. Они выбежали из школы, и тут же под ногами хрустнуло что-то стеклянное, но Анна не остановилась. Машину стояла на соседней улице — её кузов был в пыли, вмятины на дверях говорили о передрягах, в которых побывала эта полуторка. Водитель, молодой цыган, согласился не сразу, но Михаил посулил ему отдать даром десяток подков из кузни отца. Дорога в деревню была длинной, неровной, полной выбоин, в ней дребезжали камни, и машина кидалась из стороны в сторону, как перепуганная лошадь. Михаил сидел, вцепившись в подлокотник, а Анна молчала, облизывая пересохшие губы. Когда въехали в деревню, первым, что поразило Михаила, была тишина. Слишком тихо. Даже собаки не лаяли. Они выскочили из машины, бросились к дому Радована. Он был пуст. Соседи показали им как пройти к дому Анте, где жила Милана с сыном.

— Милена! — Михаил открыл дверь так резко, что та ударилась о стену, и звук разнёсся по пустым комнатам. Дом был пуст. Даже воздух внутри был каким-то выстуженным, как в жилище, где давно не топили печь. Анна уже бежала к соседям, но соседка, толстая, в тёмном платке, только покачала головой.

— Увезли.

— Кто? Когда?! — Михаил шагнул вперёд, но женщина лишь развела руками.

Они метались по деревне, бросались от одного дома к другому, спрашивали, кто видел, кто слышал.

— С утра их не было. — Видели грузовик...

— Угнали в лагерь.

Лагерь. Это слово прозвучало, как выстрел.

МИЛЕНА

Аресты начались рано утром, еще до рассвета, когда деревня только начинала просыпаться. Партизаны не кричали, не шумели — просто входили в дома и выводили людей. Они знали, кого брать. Имена уже были в списках. Их сообщали местные — кто, по совести, кто из страха, а кто, вспомнив старые обиды. Выводили всех, кто служил усташам. С ними не церемонились. Возвращали все то, что сами испытали, когда усташаи пришли к власти. Сначала взяли лесника Ивана — его видели в комендатуре, когда он носил усташам дичь. Потом сапожника Йосепа, который шил им сапоги и клялся, что делает это, чтобы выжить. Потом лавочника, до последнего торговавшего с оккупантами. А потом пришли за Миленой. Кто-то из соседей выдал ее. Может, та женщина, что всю войну носила ей молоко, но теперь впервые назвала ее «женой убийцы». Милена стояла на пороге дома с ребенком на руках.

— Выйди, — коротко сказал партизан.

Милена медлила.

— Ребенок болен...

— Выйди, — повторил он.

Она шагнула вперед. Дверь за ней закрылась. Соседи не смели подойти, но смотрели. Кто-то сочувствовал. Кто-то — наоборот. Она шла среди других арестованных, таких же, как она, тех, кто еще вчера был своими, а сегодня — чужие. Земля под ее башмаками была вязкой, как будто и она, и все эти люди вокруг — соседки, старики, лавочники, сапожник с перевязанной рукой — все они шли не по камням, а по густому, вязкому болоту, которое засасывало, тянуло вниз. Только ребенок на ее руках горел, горячий, как камень, полдня, пролежавший под солнцем. Когда его крошечные пальцы, вжавшиеся в ее платье, ослабели, Милена поймала себя на том, что сжала его крепче, как будто можно было удержать его здесь, в этой жизни, просто силой своих рук. Она не плакала. Никто не плакал. Те, кто умели плакать, оставили свои слезы еще там, в деревне, когда на глазах у них увели мужей, братьев, детей. Теперь они шли в тишине. Над ними плыли низкие облака, зажатые между гор, и ветер не мог прогнать их прочь. Облака висели, как тяжелая мокрая простыня над телом умирающего. Ребенок застонал, судорожно втянул воздух. Она не знала, сколько им еще идти. Час? Два? До лагеря всего пятнадцать километров. Только эти пятнадцать километров могут оказаться бесконечными. Женщина справа от нее, седая, с тонкими, желтоватыми губами, вдруг сказала:

— Милен, он не дойдет.

Милена не ответила. Ей казалось, что стоит ей произнести хотя бы одно слово, и она скажет все сразу — и о жаре, который жег детское тело, и о его слабом дыхании, и о том, что когда-то он кричал по ночам, а теперь просто шевелил губами, словно пытаясь вспомнить, как это делается. Она не могла сказать ни слова. Они дошли до реки. Вода была мутная, с пятнами глины. По мосту впереди уже шагала голова колонны, а где-то далеко, на подъезде к лагерю, висел в воздухе запах гари. Она прижала ребенка к себе. Он был еще здесь. Пока еще здесь. Лагерь встретил их запахом гари, кислым смрадом немытых тел, тяжелым гулом голосов и редкими, короткими ударами прикладов. Их выгнали из крытых грузовиков, построили в ряд, назвали списки. Потом разделили — мужчин налево, женщин и детей направо. Милена уже не плакала, только держала ребенка крепче, будто могла своей рукой удержать его в этом мире. Она смотрела на худые спины перед собой, на тонкие шеи, на волосы, слипшиеся от грязи, и понимала: здесь умирают медленно. Каждый день был одинаковым. Каменные бараки, вонючие нары, редкая баланда, в которой можно было угадать следы крупы, и страшная тоска по прошлому. Сначала Милена думала, что привыкнет — человек ведь ко всему привыкает, — но не привыкла. И болезнь сына не давала. Он горел у нее на руках, стонал во сне, а днем тихо лежал, уткнувшись в ее грудь. Она ходила по барaku, как по тюрьме, ища, у кого можно достать

хоть каплю молока или хотя бы немного теплой воды. Но все смотрели на нее с жалостью, а потом отворачивались – у каждого здесь была своя боль. Когда он умер, она не сразу поняла. Просто в какой-то момент его дыхание стало слишком легким, а потом исчезло совсем. Она звала его, трясла, гладила тонкие, как бумага, щеки, а он уже не отвечал. Его забрали через несколько часов – обернули в грязную тряпку и унесли в темноту. Она хотела идти за ним, но кто-то сжал ее запястье и не отпустил. После этого Милена больше не плакала. Она просто сидела у стены, опустив голову, и смотрела в землю, будто надеялась увидеть там его след.

ДРАГАН

Йович смотрел на него пристально, не мигая, а Драган, чувствуя, как холодеют пальцы, продолжал тупо сверлить взглядом землю, раздавленный собственной нерешительностью.

— Ты что-то потерял? — голос майора был ровным, но в этой ровности уже было что-то, похожее на сталь.

Драган сглотнул. В горле пересохло. Выбора не было. Лицо будто застыло — не выказать ни одной эмоции, не дать майору ни единой крупинки сомнения. Он открыл портсигар, щелкнув крышкой и вытянул сигарету.

— Куришь? — спросил он так, словно ни в чем не бывало.

— Спасибо, не курю, астма замучила, — ответил Йович, но взгляда не отвел.

Драган пожал плечами, закрыл портсигар, будто бы по привычке постучал им о ладонь. В этот момент, в этот единственный миг, сквозь толщу километров и завесу эфира, где-то в немецком штабе щелкнуло: координаты приняты. Ночь обрушилась на партизанскую базу дождем стали и огня. Сперва это был свист — долгий, пронизывающий, словно сам воздух над лесом вскрикнул. Потом — грохот. Земля задрожала, деревья выгнулись в немом ужасе, и небо вспыхнуло, словно раскаленное железо. Первые разрывы — у кухни. Глиняная печь, еще хранившая в себе тепло вчерашнего супа, разлетелась на части, щепки столов воткнулись в черные от копоти лица. Второй взрыв — в штабе. Там еще были живые — секунду назад они переговаривались, спорили, что делать с пленным усташом. Теперь не было никого. Мины ложились с убийственной точностью. Лес, этот добрый, терпеливый лес, охранявший партизан столько месяцев, взревел, вспыхнул и начал рушиться. Огромные стволы, еще утром полные жизни, трещали, падали, разрывались. Майор Йович бежал, зажав у груди папку с донесениями. Он не думал о себе, он думал только о бумагах. Их нужно было спасти. Внезапный удар в спину — горячий, ослепляющий. Он упал лицом в сырую траву. Обгорелые бумаги, донесения, списки — разлетелись, закружились в огненном вихре, падали на землю пеплом. Когда все стихло, в лесу не осталось ничего. Ни голосов. Ни жизни. Только черное, выжженное поле, по которому сквозняк гонял обрывки партизанских писем. Среди них, рядом с телом неизвестного партизана, лежал полусгоревший паспорт на имя Зорко Данича. Дорога вилась между холмами, скрывая за каждым поворотом то бескрайние поля, то одинокие разрушенные дома, обугленные войной. Джип трясся на ухабах, пыль заволакивала ветровое стекло, и Драган, прищурившись, провел по нему перчаткой, оставляя чистую полосу. — Далеко еще? — бросил он шоферу, которого нанял в отвоеванном у усташей городке.

— Почти приехали, господин офицер, — буркнул тот, не глядя на пассажира.

Драган кивнул. Когда джип выехал к лагерю, день клонился к вечеру. В воздухе пахло дымом костров, горькой гари, стряпней, и чем-то еще, неуловимым, тяжелым — запахом ожидания. Он вышел из машины неспешно, позволил себе чуть отряхнуть пыль с формы. На мгновение его взгляд скользнул в сторону санитарной палатки, где кто-то сидел на бревне, уронив голову на руки. Лицо мелькнуло в промежутке между тенями — что-то знакомое. Драган едва заметно нахмурился.

— Господин офицер! — Партизан в не первой свежести гимнастерке остановился перед ним, вытянувшись. — Командир ждет вас.

Он кивнул, поправил китель и направился вслед за провожатым. Драган шагнул в штаб, с порога окидывая взглядом обстановку. Все было просто: старый деревянный стол, грубые лавки, на стене — карта с красными отметками, рядом — радиостанция, из которой доносились потрескивания эфира. За столом сидел крепкий мужчина в потертой гимнастерке, с усталым, но цепким взглядом. — Капитан Драган Вучич, — уверенно представился он, кладя на

стол документы. — Представитель штаба верховного командования. Майор Милена приподнял бровь, взял бумаги, мельком пробежал глазами.

— Верховное командование, значит? Что-то нас редко навещают такие гости.

Драган усмехнулся, присаживаясь на скрипучий стул.

— Сами понимаете, фронты везде, работы хватает. Но когда услышал, что в этих местах готовится серьезная операция, не смог остаться в стороне.

Вукович кивнул, вернул документы.

— Мы берем город. Два дня, и все будет кончено.

— Город? — Драган подался вперед, глядя на карту. — Кто там командует?

— Лука Марич.

Драган хмыкнул, делая вид, что имя ему ничего не говорит.

— Хитрая бестия?

— Да не сказать. Крысой был, крысой и остался, — усмехнулся Вукович — Немцы держат его на цепи, а он рад стараться.

Драган потянулся к портсигару, достал сигарету, не торопясь закурил.

— Лука, Лука... Кажется, я его знал. Мы ведь оба когда-то мотались по этим местам.

Вукович кивнул:

— Ты ведь из этих краев?

— Да, — улыбнулся Драган. — Давно это было... Ты, кстати, не знал Мишко Петровича?

Командир усмехнулся:

— Еще бы. Он когда-то водил меня в самую первую атаку. Помню, как он рассказывал про бой у Сухого Брода...

— Вот ведь! — рассмеялся Драган. — Я тоже был там. Только в другой группе.

Разговор стал легче, свободнее. Они вспоминали старых знакомых, шутки, походную жизнь.

— А помнишь Стефана-«Лиса»? — спросил Драган.

— Конечно. Как-то раз он украл у немцев целый ящик тушенки и умудрился пронести его через патруль!

— О да... А потом выяснилось, что половина банок — кошачий корм!

Они оба рассмеялись. Вукович уже смотрел на Драгана иначе — не как на чужака, а как на своего, боевого.

— Ладно, капитан, — сказал он наконец, — нам еще штурм готовить. Ты остаешься?

— Пока покручусь здесь. Погляжу, как идут дела.

— Это правильно, — кивнул Вукович

Драган встал, поправил китель, пожал командиру руку и вышел. Он знал, что доверие завоевано. Теперь оставалось ждать, пока в городе начнется бой. Драган сидел в джипе, барабанил пальцами по подлокотнику. Шофер, угрюмый партизан в потертой форме, вел машину по разбитой дороге, то и дело объезжая глубокие воронки. С обеих сторон тянулись темные силуэты опаленных домов — деревня пережила не один бой.

— Далеко еще? — спросил Драган, откидываясь на спинку сиденья.

— Скоро, — буркнул шофер, не отрывая глаз от дороги. Через несколько минут они въехали на главную улицу деревни, где жизнь хоть и теплилась, но была осторожной, будто боялась, что в любой момент все может рухнуть. Женщины с тусклыми лицами, завернутые в платки, выносили воду из колодцев, несколько ребят гоняли мяч возле полуразваленного сарая. Солдаты в красных звездах, с винтовками за плечами, сидели у штаба, курили, переговаривались. Драган вылез из машины, стряхнул с форменной куртки дорожную пыль. Взгляд скользнул по лицам, но знакомых не оказалось.

— Где можно остановиться? — спросил он у одного из бойцов. Тот махнул рукой в сторону дома с покосившимся крыльцом.

— Там постоянные.

Драган поднялся по скрипучим ступеням, толкнул дверь. Внутри пахло дымом и кислой капустой. Несколько человек за столами что-то жевали, кто-то играл в карты.

— Комнату дашь? — бросил он хозяину, сухощавому старику с желтым лицом.

Тот кивнул, махнул в сторону лестницы.

— Вторая слева.

Драган поднялся, зашел в комнату. Узкий топчан, стол, железный кувшин с водой. Он скинул китель, сел к окну. Вдалеке, над городком, сгущались сумерки. Где-то там, за холмами, шло сосредоточение сил. Скоро начнется бой. Он достал портсигар, закурил. Нужно было дожидаться, пока в городе вспыхнет стрельба, а потом — идти в комендатуру. Лука наверняка попытается сбежать. А если нет — тем лучше. Драган затушил сигарету, улегся на топчан, закинув руки за голову. Время тянулось медленно. Но он умел ждать. Как только до Драгана дошли первые слухи о начавшемся штурме, он больше не мог ждать. Вся его суть требовала действий. Ему нужно было попасть в город, в комендатуру, опередить других, пока документы еще не исчезли в огне или в чужих руках. Он завел машину, дал по газам и вылетел на дорогу. Водитель остался в деревне, лишние свидетели были не нужны. Пыль столбом, мотор ревел, но ему было все равно. Он должен добраться туда первым. Город встретил его хаосом. Издалека слышались выстрелы, кое-где горели здания, партизаны зачищали последние очаги сопротивления. Драган знал: сейчас никто не обратит внимания на человека в форме, спешащего к комендатуре. Он бросил машину в переулке, пересек улицу и нырнул в здание. В коридоре валялись бумаги, перевернутая мебель, у стены — окровавленный человек в усташской форме. Мимо пробежали двое партизан, даже не взглянув на него. Драган быстро прошел в кабинет коменданта. Столешница была завалена картами, донесениями, разбросанными документами. Луки не было. Исчез. Он начал рыться в ящиках стола, открывать сейфы. Его пальцы двигались быстро, но точно. И вот — тонкий лист бумаги, сложенный вдвое, с характерным почерком немецкого офицера. *"Драган Вучич официально оформлен в часть. Должность: проводник и переводчик. Полное доверие."*

Он не задумывался. Просто аккуратно сложил записку, сунул во внутренний карман и тут же направился к выходу. Теперь ему здесь делать нечего. Драган снова сел в машину, повернул ключ. Нужно было ехать в деревню. Чем ближе он подъезжал, тем сильнее ныло в груди. Родной дом, улицы, по которым бегал в детстве... Но радости не было. Только холодное, цепкое напряжение: что его ждет? Он въехал в деревню на рассвете. Тишина, только ветер гнал по дороге клочья пепла. Остановился у дома. Окна черные, крыша осела, двор зарос бурьяном. Драган вышел, медленно двинулся к порогу. Дернул дверь — не заперто. Внутри пахло сыростью и тленом. Пустые стены, опрокинутая мебель. Он прошел в комнату родителей — та же картина. Он стоял посреди этого запустения, и впервые за долгое время почувствовал, как внутри все сжалось.

— Поздно, — глухо произнес он сам себе. — Поздно...

Он вышел, сел на крыльцо, закурил.

— Драган?

Он резко повернулся. Из-за угла дома смотрел на него худой старик в выцветшей шинели.

— Живой, значит... — прохрипел тот.

— Где они?

Старик медленно покачал головой.

— Убитые, мертвые. Кто где. Твоя мать умерла в голод, отец... его еще в начале войны не стало.

Драган молчал.

— Радована тоже нет.

— А Милена?

Старик прищурился, будто разглядывая его.

— Ее угнали с ребенком. Как жену усташа.

Драган резко встал.

— Куда?

— В лагерь. В какой — не знаю.

Драган сжал зубы, сжал кулаки. Потом развернулся, бросился к машине и рванул в сторону городка, уже занятого партизанами. Он знал, к кому обратиться. Город был полон следов прошедшего боя: раскуроченные окна, разбитые двери, пятна крови на мостовой, но все уже стихло. Солдаты сидели у стен, перевязывали друг другу раны, кто-то курил, затягиваясь глубоко, с остервенелым наслаждением.

В комендатуре его узнали сразу — он успел запомниться командиру отряда, этот новый офицер со связями, с бесстрастным лицом и глубоким голосом. Теперь он не тратил времени на церемонии.

—

Майор, — выпалил он, — мне нужна ваша помощь!

—

Драган? — майор поднял брови, удивленный его внезапным появлением. — Что случилось?

—

Моя родственница, Милена Вуйович, — сказал Драган, стараясь говорить спокойно, — ее по ошибке забрали в концентрационный лагерь.

Майор нахмурился.

—

Родственница? — переспросил он. — Почему вы думаете, что ее забрали по ошибке?

—

Она не имеет никакого отношения к устахам — ответил Драган. — Она обычная учительница.

Должно быть, произошла какая-то ошибка в документах.

Майор задумался. Ошибка в документах — это вполне вероятная ситуация в условиях войны.

—

«Хорошо», — сказал он наконец. — Я узнаю, где она находится. Но это займет время. Концентрационные лагеря — это режимные объекты, и получить информацию оттуда непросто. Драган кивнул, чувствуя, как напряжение медленно отступает.

—

Спасибо, майор, — сказал он. — Я подожду.

Выяснение местоположения Милены заняло несколько дней. Драган, словно тень, бродил по городку, ожидая новостей. Он понимал, что каждая минута промедления может стоить ей жизни. Наконец, майор вызвал его в кабинет.

—

«Мы нашли ее», — сказал он, протягивая Драгану листок бумаги. — Вот адрес лагеря.

Драган, схватив листок, бросился к выходу. Он знал, что времени больше нет. Дорога в лагерь казалась бесконечной. Драган гнал машину, не разбирая местности, не замечая, как заходящее солнце вспарывает горизонт алыми полосами. Где-то внутри него жила одна-единственная мысль: **успеть**. Всё остальное — пыль, рёв двигателя, обожжённые солнцем холмы — не имело значения. Лагерь... Узкие бараки, колючая проволока, редкие силуэты людей, которые передвигались не шагами — тенями. Он шел, оглушенный этим жутким, ссохшимся пространством, глядя в лица, и каждое лицо било его по сердцу, как плетью. Драган шагал по узкой тропе между строениями, кожей ощущая взгляд часового на вышке. Его пальцы легли на ремень кобуры — легкое, почти машинальное движение. Он не знал, как ее искать. Не знал,

в каком бараке, среди каких людей. Он просто шел, ловя себя на диком, бессмысленном желании, что она **сама** выйдет ему навстречу. А потом увидел. Она стояла, прислонившись к стене. Она увидела его. И не пошевелилась. Ни слова, ни вздоха. Только глаза — два черных, провалившихся пятна на этом высохшем лице. Он бросился к ней, но она сделала шаг вперед сама. И рухнула. Он подхватил ее, почти не почувствовав веса, едва сдержал проклятие. Милена снова открыла глаза, шевельнула пересохшими губами.

— Драган...

Он прижал ее к себе, задыхаясь.

— Я здесь. Все, все, Милена. Я тебя заберу.

МИХАИЛ

Михаил сел на пороге полуобрушенной избы и закурил, глядя в пустоту. Анна стояла рядом, скрестив руки на груди. От тишины звенело в ушах. Деревня дышала, но едва слышно — как человек, только что вынырнувший из ледяной воды.

— Остаемся, — тихо сказал Михаил, не глядя на Анну.

Она не спросила «зачем», не стала спорить. Села рядом, прижала колени к груди, и так они сидели долго, молча, пока вечер не лег на землю длинными тенями. Михаил знал — она рада, что Милены нет. И не то, чтобы радость была в этом, нет. Просто облегчение, как после долгой, изматывающей борьбы, в которой наконец расставлены точки. Она больше не ждет удара из прошлого, не оглядывается, не сравнивает себя с тенью той, другой. Теперь только они двое. И он знал: в нем самом тоже не осталось той смятенной двойственности, что раздирала его прежде. Любовь, ревность, воспоминания, чувство вины — все это было, все оставило след, но теперь словно покрылось пеплом, как и эта сожженная деревня. Милена растворилась во времени, ушла, и Михаил не мог сказать, что чувствует теперь — горечь или покой. Есть Анна. Есть он сам. И есть это место, обугленное, обрушенное, но все еще стоящее. Он смотрел на остатки деревни и думал: а ведь она не умерла. Дерево, даже если его срубить под корень, может пустить новые побеги. Земля, даже иссеченная осколками, снова станет мягкой, если коснется ее дождь. Человеку ведь тоже дано это свойство — возрождаться, подниматься из руин, как бы глубоко он ни падал. Значит, надо начинать сначала. Поднимать крышу, ставить двери, собирать камни по краям полей, выковывать железо, искать скотину. Не ждать милости, не надеяться, не жалеть себя. В этом новом мире уже не было места старым ошибкам, страстям, метаниям. Была работа. Была жизнь. Анна сидела рядом, прислонившись плечом. Она тоже молчала, но Михаил чувствовал: она думает о том же. О том, что осталось позади, и о том, что впереди. Они не говорили о будущем, но уже знали его. Ночь опустилась на деревню тихо, беззвучно, как опадает осенний лист. В пустом доме Михаила было холодно — стены впитали слишком много зим, слишком много молчания. Они разожгли печь, но пламя еще не согрело воздух, и только лунный свет осторожно касался старых стен, пыльных окон, старого сундука у стены. Анна сняла платок, развязала косу. Волосы рассыпались по плечам, струились, словно темная вода. Михаил смотрел на нее, не шелохнувшись. Казалось, он видел ее впервые — не боевую подругу, не женщину с ружьем, не ту, с кем они делили хлеб и кровь. Он видел женщину. Просто женщину. Она стояла в свете луны, и в этот миг весь мир сузился до этой комнаты, до этих старых простыней, до ее рук, медленно скользящих по его плечам. Он прикоснулся к ней, осторожно, словно пробовал незнакомую мелодию. И когда Анна подняла лицо, в ее глазах не было ни стеснения, ни вопроса. Только долгий, глубокий взгляд — как у человека, который всю жизнь ждал этой минуты. Они легли на старую родительскую постель, и тьма накрыла их, спрятала от всех, оставила только двоих. Тела нашли друг друга, слились, словно их всегда тянуло друг к другу, но что-то удерживало — время, судьба, война. Теперь ничего не мешало. Теперь были только руки, гладящие, изучающие, ловящие биение сердца. Тепло кожи, вкус дыхания, тишина, в которой звучал только треск догорающего в печи полена. Они пили друг друга, как воду после долгого пути. Осторожно, затем жадно, затем опять медленно, будто не могли насытиться, не могли поверить, что все это — на самом деле. Что можно вот так — без страха, без спешки, без прошлого. А потом они просто лежали, сплетаясь, будто дети, прижавшиеся друг к другу в темноте. И Михаил думал: это и есть жизнь. Не война, не бегство, не страх. А вот это — тишина, запах волос, легкое прикосновение ладони к груди. Анна провела пальцами по его лицу, по губам, по щеке. Она не говорила, но Михаил понял.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.